

ЯКОВ ЛАНДА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

М. Б.

Но где та, которая любит меня? Я вижу ее во сне, и беру за руки, и называю именем Люси, синеглазым капитаном моей жизни, и падаю в обмороке к ее ногам, и выпадаю из сна.

В. Шкловский. «ZOO. Письма не о любви»

Главное: с чего начать? Вот эта самая первая строчка — самое трудное. Не начинать же с «Иван Иванович сидел за столом» или с «В городе N» и т. д. — как лет сто назад. На дворе уже третье тысячелетие!

Ничего не придумывать. Просто описать — как было. И совсем не обязательно, чтобы — столица, истеблишмент, боомнд. Пусть хоть глубокая провинция, ибо — всюду жизнь. Главное: «как было».

Иван Иванович сидел за столом. Стол у Ивана Ивановича был солидный. Крышка его покоилась на двух массивных тумбах и была обтянута темно-коричневой, слегка потрескавшейся кожей. Каждый, кто выстаивал у этого стола, помнил и сразу узнавал длинные выющиеся морщинки, похожие на великие сибирские реки со всеми их многочисленными притоками. Справа от стола высился стеллаж, где под охраной затянутых в форменные переплеты томов полных собраний сочинений готовились к следующей выставке плоды рукотворчества и томилась в ожидании очередного педсовета вещественные доказательства прегрешений. Слева висел портрет вождя мирового пролетариата с черепом таких размеров, что слова о сотне ворочавшихся в нем губерний уже и не казались гиперболой.

Позади Ивана Ивановича было просторное окно, яркое освещавшее провинившегося и скрывавшее от него аскетические черты лица и чрезвычайно внимательный — не по чину рассматриваемого — взгляд Ивана Ивановича, у которого — единственного в школе — не было прозвища. Никакое прозвище к нему не подходило? Потому, пожалуй, что он ни при каких обстоятельствах не терял самообладания и не повышал голоса.

Но вызванный в кабинет в глаза Ивану Ивановичу смотреть и не собирав-

Журнальный вариант.

Яков Семенович Ланда (род. в 1948 г. в Одессе) — автор репортажей и эссе для радио «Свобода», книги «Исповедь конформиста» (СПб., 1998). Живет в Ганновере (ФРГ).

© Яков Ланда, 2004

ся. Привычно понунив голову, он находил знакомую сибирскую реку и прослеживал свой путь по ней — к устью, до впадения в деревянную окантовку стола. Когда Иван Иванович негромко произносил: «Ну-ка, подними голову», испытываемый отрывал взгляд от стола и переносил его вверх и вправо — как раз к портрету с привычным до неузнавания лицом. Утешением был галстук вождя в крупный горошек, если не роскошный, то отчасти франтоватый. Он один и придавал чересчур серьезному портрету некий оттенок человечности. Наслушавшийся за долгие годы в этом кабинете всякого, вождь равнодушно смотрел — мимо нарушителя завета — на корешки томов своих сочинений. Возможно, он слегка ревновал их к трудам преемника. Впрочем, в рассматриваемый период преемник был уже отовсюду снят и убран.

Видевшие Ивана Ивановича сидевшим всегда спиной к окну и не подозревали, что это окно служило Ивану Ивановичу источником информации куда более важным, чем труды классиков или стоящие на самом верху стеллажа методические сборники и какие-то папки.

Из окна замечательно просматривались школьный двор, сопредельные территории и, главное, известное неказистое сооружение, помимо основного своего назначения служившее оплотом оппозиции порядку и чуть ли не средоточием зла. Сюда не заглядывали учителя и лишь стайкой или хотя бы парой про скальзывали, а затем поспешно выпархивали старшеклассницы. Ускоряя шаг и не оглядываясь, девушки брезгливо поводили головами, забрасывая косы за плечо, но руки их непроизвольно норовили оправить еще раз на ходу форменное платье, что вызывало снисходительную ухмылку на физиономиях глядевших им вслед балбесов.

За стеной сооружения собирались курильщики. Здесь царил циничный дух сугубо мужского сборища, сюда с большой неохотой направлялся дежурный учитель, а в голосах учительниц, идущих «разгонять курцов» парой, к привычным агрессивным интонациям добавлялись еще и истерические, с головой выдававшие чуткому юношеству их неуверенность. Ивану Ивановичу же достаточно было просто посмотреть в окно после звонка на урок, когда курильщики покидали свое укрытие. Вызванный «наверх» всегда был ошарашен неумолимым жестом, подкрепленным негромким требованием: «сигареты». И фрегат на надорванной пачке «Черноморских» обретал вечную стоянку среди других экспонатов на полке описанного выше стеллажа, рядом с настоящим винтовым патроном и самодельным финским ножом.

Окно давало Ивану Ивановичу возможность постоянно быть в курсе как происходящего в школе, так и лишь намечающегося. Короткий диалог выпускницы с олицетворявшим мужскую доблесть учителем физкультуры мог быть сигналом к началу чреватого опасностью романа. А продолжительная мирная беседа двух постоянно соперничающих коллег свидетельствовать о сепаратномговоре.

Но стоящему перед столом никогда не удавалось взглянуть на школьный двор в окно за спиной завуча. Разве что, оторвавшись на миг от карты еще не повернутых сибирских рек, уставиться в самый верх окна, на равнодушную голубизну, не больно слепящее глаза осеннее светило, и расцветут в глазах неясные узоры, переплетения, начнут строиться дворцы и замки, арка входа — справа, высоченная громадина — посередине, неразлично яркие картины на фасаде дворца пониже — слева, какие-то переплетения лестниц внизу, и все это — яркое, праздничное...

В городе N. он прожил лет десять и здесь бывал часто. Этот урбанистический ландшафт привлекал его своей многоярусностью. Сидя за столиком в кафе наверху, можно было спокойно созерцать пеструю суету на площади внизу, у входа в метро, где начиналась ведущая в центр города подземная улица с множеством лавок, кафе, магазинов. Там был и итальянский ресторан, уставлен-

ный снаружи столиками, где над дымящимися чашками кофе дымили еще и сигаретами, прерываясь лишь для поцелуев.

Над всем этим возвышался высоченный параллелепипед банка и слева, пониже, большой киноцентр с яркими афишами. Напротив — кинотеатрик поменьше, всего три зала. Здесь, провалившись в кресло, было приятно смотреть не американский блокбастер, а французский или итальянский фильм.

Наверху справа была арка входа в вокзал, а дальше — еще лестницы, переходы, бесчисленные кафе, внизу — опять магазины, лавки, входы во врачебные «праксисты». Придя сюда в первый раз, он удивился: огромное окно приемной выходило на ту самую площадь, и любимый кинотеатрик был как раз под ним. Счастливые не наблюдают часов, здоровые — медицинских вывесок. Хотя именно на эту вывеску обратить внимание стоило бы и раньше. Шефом клиники был, вероятно, давно здесь живущий китаец с именем, сугубо здешним — как у автора «Кольца нибелунга», но фамилией чрезвычайно китайской — как у знаменитого председателя.

Когда он спросил у врача, сколько осталось «в худшем случае», тот спокойно подумал, пошевелил губами — почему-то вспомнилось классическое «октяб, нояб, декаб» и в груди заныло — и спокойно ответил, добавив: «в худшем случае». Названный срок оказался просто огромным: ведь он думал, речь идет лишь о нескольких месяцах.

Сейчас он сидел здесь, у окна, в обнимку с высокой штангой на колесиках с подвешенным к ней аппаратом и тихо урчащим насосом, и не возвращался в палату, где подключенные к таким же агрегатам пациенты, развалясь в креслах, читали газеты, смотрели телевизор, даже вязали. Чистота, отсутствие неприятных запахов и всеобщая умиротворенность как-то не вязались с мыслями о боли, страданиях, тем более — смерти. Наверное, поэтому, глядя сверху на нарядную толкотню, от которой его теперь разом отделили, он испытывал странное, даже противоестественное спокойствие.

Еще не скоро. Ну — не совсем скоро. Не думай об этом, забудь.

Тут автор обнаруживает себя давно плывущим уже в студеной воде прозы. Берег порядочно далеко, и туман стелется над Ла-Маншем. Густой туман, «Таймс» напишет: «Континент изолирован», и один за другим покидающие Кале суда гудят друг другу сердито и предупредительно. В трюмах спят автомобили, а наверху бесцельно слоняются по палубам пассажиры. Но впереди у них белые скалы Дувра. А воды прозы безбрежны. Куда ж плыть? К каким берегам? И как?

Будет берег — подберем и жанр. А берег тот, конечно же, не выбирается, он один, туда и плыть — мимо утесов гордого Альбиона, в иные моря, к другим берегам, к совсем иным землям. Проклятым и презираемым, покинутым и оплакиваемым, но мы-то там родились и знаем: там летом за раскаленным бульваром синее смеющееся море, а вдоль разбитой пыльной дороги к старому кладбищу, прячась в зелени берега, течет волшебная река; там зимой «кругом пятьсот» и холодному утреннему солнцу не согреть плоскую грудь замерзших озер, и угрюмые соседи из купе слева бесконечной чередой тянутся в тамбур покурить, задевая ноги беспробудно спящих на верхних полках, а за стенкой справа не умолкает настырный говор неутомимого рассказчика; там мерный храп, скрежет и позвякивание, и трассирующие огни в темноте за окнами; и путешествие бесконечно, а все, что было, есть и будет, — лишь бессвязные обрывки нескончаемого сна под гудки и грохот встречных поездов, под сварливые голоса станционных диспетчеров, под перестук колес, шепот попутчиков, шум дождя; там люди, их жизни и судьбы на разделенных немислимыми просторами больших и малых островах гигантского этого архипелага настолько различны, что порой странно, что везде говорят на одном языке; там все возникает неожиданно и заканчивается, не завершившись, за чугунной решет-

кой оград и на старой площади, в суете городов и потоках машин — и на просторах, где беспечно плывут к востоку облака; жизнь коротка, любовь не вечна. И не кончается...

Строка, едва угадываемая сквозь пожелтевшие чернильные пятна. Мучительно знакомые черты чужого расплывшегося лица. Вот эта улица, вот этот дом... Вот этот запах — цветы, крем какой-то? Когда это было?

Нет того дома. Другой, огромный, равнодушно глядящий всей сотней бельмастых своих окон. В одном из них старуха. Мистика: нет ее давно на этом свете, той старухи. Скорей — мимо этого забора и дальше — там был колодец, за ним крыльцо. Ничего там нет. Ни крыльца, ни колодца; ни кола, ни двора.

Одышка. Господи, какая жара...

В то лето было нестерпимо жарко. По ночам особенно. И струйка пота, зарождающаяся у нее в ложбинке между симметричными хребетиками ключиц, стекла дальше в ущелье, где справа и слева высились две волшебные горы, мягкие и упругие одновременно, и даже в эту жару удивительно прохладные.

И запах сирени. Сирени тогда было в избытке, и толпившиеся за заборами ее кусты высовывали на улицу развесистые лапы — прямо под нос случайному прохожему. Топающий мимо дядька скосит глазом, зароется на ходу в пахучую благодать по уши, потянет шумно носом, крикнет блаженно, оглянется виновато по сторонам и вновь изобразит на бровастом лице всегдашнюю озабоченность. Сирени было столько, что не приходило в голову ее дарить, она была всеобщим достоянием, как пахнущий грозой воздух.

Нет, не сирень, он все забыл. Сирень бывала в мае, даже раньше. Что же это было, что за запах? Петунии с их граммофонными раструбами? Где же они росли? Терраса была засажена виноградом, чьи гроздья свисали к самой постели. Она прижимала его голову к своей груди, и рот его надолго завладевал выпуклым соском, а язык медленной улиткой осторожно переползал через его вершинку, остро ощущая все ее чудесные неровности, и зубы слегка покусывали сосок у подножия — бережно, но порой причиняя ей боль. Она вздрагивала, но не отталкивала, а прижимала его голову к себе еще сильнее, и это проявление превосходящей его силу мощи взрослой женщины пугало его. К этому добавлялось ребячески гордое осознание некоей своей власти над нею, чего, впрочем, он стыдился. Восхитительные преступления осязания. Вездесущий цветочный дурман. Тишайший шелест листьев над головой. И частым в эту пору вспышкам падающих звезд в темноте над щербатыми черепичными крышами уже не поспеть за лихорадочно сбывающимися желаниями.

Запрещено. Забыто, не было. Не было ничего, ты понял? Прекрати немедленно, — твердил себе, когда вдруг все же вспоминалось, просачивалось в самый неподходящий момент. Какой момент мог быть, впрочем, подходящим?

Разве что ранним утром, когда, проснувшись засветло, он постепенно вспоминал все сущее и предстоящее. Сначала — приснившееся и сразу же забытое, потом — вчерашние обиды и неприятности, накопившиеся грехи и неизбежно грядущие головомойки, и лишь затем уже — что-нибудь утешительное. И — не хотел думать об этом, гнал это от себя, но — просачивалось, сквозь запреты, заклинания, ругань с самим собой.

Тогда он вставал со своего немилосердно скрипевшего дивана, наскоро одевался и выходил во двор. Там при его появлении вскакивали две спавшие у ворот собаки, обе приبلудные, и глядели, как провинившиеся часовые. Услышав «вольно» и «за мной бегом марш», они наскоро потягивались и спешили за ним вдогонку — по пустынным улочкам мимо вечно заляпанных грязью низкорослых особнячков, в неправдоподобной утренней тишине, прерываемой лишь залившимся лаем из-за заборов да гимном Союзу нерушимому из пробудившейся радиоточки.

Земля уже не хранила следов ночного дождя, но воздух был так им промыт,

что дышалось легко и жадно. Еще только середина августа — до сентября далеко. Все хорошо. Еще не скоро. Ну — не совсем скоро. Не думай об этом, забудь. Быстрее, еще быстрее, так что оба адъютанта отстали; по размытому дождями склону, к реке, не видимой еще, но уже угадываемой — по тому, как с готовностью расступаются приземистые выбеленные хаты, а за рекой, на том берегу, скачком уменьшаются в перспективе деревья, возле которых у переправы несколько тяжело груженных корзинами бабушек ждут лодку, словно застывшую неподвижно на середине, так что все это останется в тебе навеки отснятой фотографией.

Пройтись по улицам? Но днем улицы города пусты, и самое большее, на что можно рассчитывать: смена почетного караула у памятника на площади. Деревянные автоматы, наглаженные шелковые галстуки, щекастые отличники и — на голову выше сверстников, заливающиеся краской стыда под взглядом прохожего — отличницы. Публика немногочисленна: бабушка и держащийся за ее руку карапуз, остановившаяся перевести дух домохозяйка, нагруженная продуктовыми сумками, да пробежавшая мимо изнывающая от жары собачка — голова набок, хвост бубликом, самый благодарный зритель. Церемонию осеняет привычно указующий в сторону вокзала гранитный вождь, и откуда-то с неба доносится не вполне уместный к моменту шлагер: «Марина, Марина, Марина...».

Но это — на площади, в центре. Улицы же пусты, лишь на автобусных остановках покорно томятся обитатели пригородов, мечтающие отдохнуть душой от поликлиники, почты, сберкассы или паспортного стола. За пыльными окнами приземистых окраинных домов, за заборами в бушующей сирени, в полосатой тени огородов, обсаженных вишнями со спутавшимися кронами, под кудахтанье, лай и бляенье разномастной дворни, куда вплетается вездесущее и здесь еще более неуместное «Марина, Марина, Марина...».

Автобус — лучшее средство для знакомства с городом. Только знакомство это надо начинать с утра пораньше. Вот когда поразишься интенсивности кипения городской жизни. Автобус зачерпывает многоликое варево почти до краев в самом начале пути и, чуть расплескав в центре, несет на окраину, где посреди степного бездорожья его содержимое неравно делится между индустриальным гигантом и гигантом науки. Тоненькая струйка течет и к разбросанным дворам, с которых начинается соседнее село. Цветастые платки обитателей ближних окраин соседствуют в переполненном автобусе с гэдээровскими костюмчиками и белыми китайскими плащами инженеров, а из открытого окна заводской радиорубки громыхает — ну, конечно же...

Нет, подвела память: все это было позднее, а тогда завод только строили и автобус был битком набит строителями: крепкие запахи, соленые шутки и взрывы хохота, поджатые губы обреченно глядящих в окна бабушек... Да нет, ничего тогда еще за городом не строили. Но уже начинался его золотой век. Город был ухоженным, благополучным. А ведь раннее детство прошло совсем в ином городе. С остатками военной разрухи. С торчащей над городом руиной элеватора. С разбитыми мостовыми, с «наглядной агитацией», стыдливо прикрывавшей самые неприглядные места; с вечно длившейся стройкой в центре: там годами стояли огороженные фундаменты, и дети увлеченно играли в войну — среди зарослей бурьяна и кактусов, засиженных сиреневыми мухами...

И вот он снова побывал в этом городе. Думал, вернется в город отрочества и юности, а вернулся в город раннего детства. Просто тогда он был маленький, земля была намного ближе, и он все на ней замечал: траву и развесистый чертополох, божьих коровок и «солдатиков», многочисленное потомство бездомных кошек, прекрасные камешки на обочинах дорог и многое другое. Тот мир был прекрасен и вовсе не казался тогда пейзажем после битвы. А сейчас он увидел пейзаж после битвы. Гигант индустрии давно не дымит, на главной ули-

це — бурьян. Известно, что жизнь в городе кончается, когда из него уходят военные. Военные ушли. Повсюду разруха и усталость.

Но учителя в городе были всегда. И всегда были безошибочно узнаваемы. По всегдашней если не взвинченности, то приподнятости, по правильной, почти лишенной украинизмов русской речи, по тому, о чем они говорили: всегда только о школе. И всегда — с завышенной громкостью и привычным осознанием публичности происходящего и присутствия слушателей. И они сами, и их темы были слегка не от мира сего. Из сумок в их руках не вермишель высовывалась, а стопки тетрадей, и теплый платок не повязывал зимой голову, а беззаботно сдвигался на плечи.

Но это все — женщины. Учителей-мужчин в городе было немного, и на улице от окружающих они не отличались.

Странно: эта улица существовала сейчас в двух временах сразу. Пожалуй, что даже в трех. Знакомую перспективу искажала громада длинной девятиэтажной коробки, тянувшейся справа до самого перекрестка, от которого начиналась финишная прямая к берегу. За ней — вправо вглубь — ничего. То есть все, что тут когда-то было, пожрал грязный и ненужно просторный, без детской площадки или цветочных клумб, захламленный двор. Сразу за ним — проволочный забор, а там — школа, нет, не школа, школа еще в те времена, переехала в новое здание, и теперь тут конторы городского хозяйства. Здесь не было никакого перехода: то, что было полвека назад, обрывалось на протяжении одного метра.

Вот еще тот самый забор, за которым дом старика... как же его звали? Никто, кажется, не видел его лица: старик вечно возился в глубине своего густо засаженного деревьями двора. Но мячи, иногда случайно залетавшие туда, исчезали бесследно: их не выбрасывали назад, а идти к нему за мячом никто не решался — старика почему-то ужасно боялись. Он потом куда-то сгинул. Настали иные времена, и вечный футбольный матч в этом дворе — с утра до вечера, порой лишь с перерывом на уроки в школе — ушел в прошлое. Тот же самый давно не крашенный забор, только постаревший на полвека и все так же скрывающий густо заросший двор.

Рядом — замечательный переулок, не переулок даже, а просто длинный и слегка виляющий проход между высоким забором и глухими стенами соседних домов, закрытый от солнечных лучей нависавшими над забором ветвями деревьев. Здесь и днем было почти темно и как-то страшновато. Взрослые тут не ходили, а дети пробегали всегда стайкой и не задерживаясь, и лишь задумчивые кошки не спеша прогуливались, внимательно поглядывая по сторонам.

Этот двор был сейчас пуст, необитаем. Брошенные квартиры, настежь открытые, предлагали взору прохожих ломаные столы и стулья, какие-то пыльные тряпки. Обитатели этих квартир, где не было водопровода — лишь угольные печи и удобства — во дворе, давно переселились, уехали, умерли.

И еще несколько таких же захламленных жалким скарбом дворов, где уже в годы его юности обитали преимущественно старухи, копошившиеся у примусов в «летних кухнях» — задымленных лачугах из досок и фанеры — или часами сидевшие у крылечек в тени абрикосовых деревьев. Он тогда проходил мимо, ускоряя шаг. «Ибо кажется: эти помнят тебя ребенком».

Вот та треть улицы, что за полвека не изменилась вообще. Здесь доминировала чудовищная громада здания, в незапамятные времена сложенного, точнее, слепленного из плохо отесанных гранитных блоков, кирпичей, ракушечника. Оно занимало целый квартал, выходя на три улицы глухими стенами. Окна были замурованы кирпичами, вероятно, еще в тридцатые годы, когда здесь размещался «райпотребсоюз» — он никогда не вдумывался в смысл этого сокращения, воспринимая его наравне с некоторыми словами, вычитанными из древнегреческой мифологии.

И тут ноги сами понесли его мимо глухой и заросшей кустарником стены серокаменного этого дурдома, в те переулки, где все дорожки были им протоптаны...

Все обошел. Круг замкнулся, хотя все вокруг другое, не такое, что оставил здесь в юности. Здесь те же послевоенные неухоженность и бедность. Вот тут, сидя на корточках, внимательно разглядывал он лихорадку муравейника или радовался неожиданной и ценной находке: отполированному камешку, диковинному осколку бутылочного стекла. А вокруг были те же домишки, те же пыльные стекла окон, и те самые седые старухи сидели у дверей на колченогих табуретах. Только теперь это были состарившиеся дочери и невестки тех старух, уже прожившие эту, вторую половину нескучного века: послевоенный голод и надежды пятидесятых, хрущевское десятилетие и иллюзии шестидесятых, более или менее устроенный быт семидесятых, пофигизм начала восьмидесятых, а потом снова волнения и снова надежды в их конце, совсем уже непостижимые девяностые, и вот сидящие сейчас на пороге нового века у крылечек тех же обветшавших домиков.

Что же ты остановился, не идешь дальше? Жарко? Нет, ведь ты хочешь туда, правда? Ну, иди. Помнишь, где это? Конечно, в том самом дворе, в тени деревьев, как раз за бывшим «жилкоповским» домиком с развороченными внутренностями. Когда же ты там был в последний раз? Неужели с тех пор никогда?

Ну, конечно, никогда. С тех самых пор. А потом в том дворе завели сразу двух цепных псов: одного — со стороны улицы, другого — за домами, в глубине, там, где за забором когда-то начинались задворки школьного хозяйства. Днем одуревшие под палящим солнцем псы спали — но чутко, а вечером и ночью, заслышав чьи-то шаги, бросались каждый к своему забору и старались перелаять друг друга. Да он и не пытался туда попасть. Та жизнь кончилась, давно ушла, а после переезда в новую квартиру он по этой улице уже не ходил.

Отворил — потихоньку не получилось — скрипнувшую пронзительно калитку, вошел во двор и сразу, стараясь не глядеть на останки чужой жизни, дальше — в тень сада, где черешни так постарели, что не узнать, хотя поклеванные воробьями плоды там и сям в листве, но больше — на пожухлой траве под деревом.

Он почему-то думал, что это — где-то далеко еще. Но двор как-то сжался в размерах, и вот она, точнее, то, что от нее осталось. Четыре ветерана с обрубленными кронами меж угловых столбов. Ветхая рама боковой стенки, немного крыши. Кое-где следы давней-предавней краски, но все состарилось, съезжилось, почти истлело. Непривычно голо вокруг, и то, что когда-то лишь угадывалось за буйным кустарником и деревьями, сейчас хорошо видно: и школа вдали — вернее, то, что теперь вместо школы, и эта бессмысленная коробка слева, и еще две девятиэтажки за крышами брошенных домов. А сирень давно вымерла.

Что-то должно чувствоваться — но не чувствуется, выгорело все — как трава, как эта пошлая голубая краска, как лохмотья в брошенной квартире рядом, а все остальное — то, что случилось в конце, — еще впереди.

Знал ли он тогда, чувствовал, как сложится жизнь? Глупый вопрос. Почему же ему кажется, что знал?

Здание школы с окнами, украшенными выложенными кирпичом наличниками, было одним из самых старых в городе. Разумное, доброе и вечное сеяли тут с незапамятных времен. По крайней мере, еще в 1901 году, в тогдашней прогимназии, этим занималась некая активистка РСДРП с немедленно забывающейся фамилией.

Школьная жизнь бурлила в основном в просторной новостройке напротив, а здесь располагались младшие классы. К ним примыкали какие-то навсегда закрытые склады и кабинет завуча. Дорога в кабинет шла по плохо освещенному коридору, и вызванный сюда посетитель пытался сообразить, какое из тайных его прегрешений стало вдруг явным.

Прегрешения бывали не только многочисленны, но и чрезвычайно разнообразны по степени как злодейства, так и постыдности. Были среди них и такие, о которых хотелось навсегда забыть, надежно упрятав в темницу памяти.

А ведь было еще нечто, уже и не в темницу упрятанное, а задушенное и глубоко закопанное, как новорожденный младенец в окантованном железом деревянном ящике...

Многое все еще хранилось, и, например, вот это он помнил во всех мельчайших подробностях. Они сидели с мальчиком, приехавшим в их городишко из большого города только на каникулы, в тогдашнем одноэтажном и уютном кинотеатре, давно уже не существующем, где по обе стороны экрана, по углам, высились две цилиндрические башни — печи, согревавшие зал. И этот мальчик, вероятно, такой же вдохновенный враль, как и он сам, рассказывал об операции, сделанной кому-то из его родных, с такими подробностями, словно он сам находился тогда в операционной:

«...И когда врач сказал: «Дайте нож!», рак услышал это... про нож — и забрался в кость!..»

Потом был замечательный мультфильм о мальчике Нильсе и стае диких гусей. И вот уже он сам, оседлав огромную белую птицу, несся над облаками на головокружительной высоте, догоняя уносящую Нильса стаю... Но все еще слышал это деловитое «дайте нож» и ужасался изощренности спрятавшегося в кость рака, представляя себе смертельную болезнь, если не буквально — в виде достаточно знакомого и, в сущности, безобидного земноводного, то, по меньшей мере, в виде какой-то омерзительной, свирепой и злокозненной его модификации.

Когда ему сказали, что поражен костный мозг и это неизлечимо, он сразу вспомнил и подумал: ну вот, это и случилось, забрался в кость.

С тех пор подобных указаний было множество. Просто они забывались.

Впрочем, вот это не забылось. В романе любимого его автора был некий персонаж, крайне несимпатичный, но — «успешный», всегда добивавшийся своего, во всем идущий «до упора». Он хорошо знал этот человеческий тип — потому, наверное, что сам частенько бывал на него похож, не так в достижении каких-либо заметных карьерных или иных успехов, как в этом эгоистичном, «до упора», стремлении почти любой ценой обрести желаемое.

И вдруг несимпатичный персонаж безнадежно заболел, притом, пораженный этим известием, как громом среди ясного неба, за день до отлета на работу за границу, так замечательно урегулировав все дела дома и с любовницами, что, как говорилось, «хоть не возвращайся».

Что-то было в этом неестественное... Ну, конечно: авторский произвол. В обычной жизни, в обстоятельствах, так сказать, типических укатил бы этот тип за границу и жил бы себе да поживал. А тут сам Автор, создатель и творец этой на страницах книги развертывавшейся реальности, не выдержал и прихлопнул злое насекомое. В этом произволе ощущались по-человечески понятные отчаяние и беспомощность перед реальностью первичной: пусть хоть здесь, на бумаге. Он и не сомневался: довелось бы спросить у самого писателя, тот бы так и ответил — правильно, мол, поняли...

Писатель тот, однако, вскоре умер. А за границей лет десять спустя оказался он сам.

Вот эта мысль сверлила, изредка омрачая радость от больших и маленьких побед в сражениях «до упора». Что, если и со мной вот так? Что если Тот, кто пишет повесть, где я сам — в меру успешный, но несимпатичный персонаж, не выдержит и тоже вот так прихлопнет...

Но автор этой повести — ты сам.

Тогда, быть может, Тот, кто читает.

А всего за полгода до того, как все неожиданно открылось, ему показали и место.

Слегла одна из первых его здешних знакомых, эмигрантка с более чем полувековым стажем. Операция прошла, кажется, вполне удачно, и эта всегда приветливая женщина была полна оптимизма, но уже одно название отделения, куда он пришел ее проведать, ничего хорошего не предвещало.

На этом этаже, в этом же отделении он и оказался несколько месяцев спустя, ничуть этому не удивившись.

Все, что было, было впервые. Поэтому ни с чем и не сравнивалось. Запечатывалось в память во всей своей первозданности, как диковинное насекомое в янтарь.

Память была разной у души и тела, живших почти врозь. Тело было занято своими проблемами, специфически детскими. Продвижение здесь было — шагом, успехи — так себе.

Душа же просто не успевала вместить в себя все, что жадно поглощали органы чувств; впечатлений было слишком много, они нагромождались, и гора росла с каждым днем.

Все было в равной степени ново, интересно и важно. Иерархия здесь отсутствовала начисто.

Ничто не оценивалось, не обсуждалось, не осуждалось. Каждая картинка этого калейдоскопа — не звено в цепи, имеющее предшественников, а нечто изначальное, единственно существующее, все содержащее в себе и еще не разъятое. За всю последующую жизнь он лишь однажды испытал нечто подобное, когда почти полвека спустя, в Италии, рассматривал на стенах прославленной капеллы фрески художника, олицетворившего собой все треченто. Эти фрески тянули к себе, как магнит.

Потом все впечатления окружающего мира были разом вытеснены на задний план. Года в четыре он научился читать.

Мир приобрел новое измерение. Попасть туда было до смешного легко. Забраться с книгой в кусты, залезть на дерево. Хорошо читалось под столом, хотя и темновато. Что угодно: сказки и романы, газеты и учебники, понятное и непонятное. Без усталости, в один присест. Только бы не мешали.

В школу собирался без особого интереса. От скуки в первом классе спасало лишь чтение запоем. Наконец прозвенел последний звонок.

В школе он слыл «рассеянным с улицы Бассейной» и излишне погруженным в созерцание. В действительности, мысли его обычно блуждали по каким-то книжным страницам, в то время как слух и зрение добросовестно делали свою обычную работу. Так было и сейчас. Он все видел и слышал. Каре во дворе. Цветы в руках выстроившихся у школьного крыльца первоклассников и свертки с подарками в руках выпускников напротив. Учителя у покрытого вечной красной скатертью стола. Натужно бухающий духовой оркестр и переключка станционных диспетчеров на железной дороге неподалеку.

Что-то там говорилось, и нестройно перекачивались аплодисменты. Запомнилась лишь замечательно красивая — он не знал тогда слова «женственная» — выпускница. Признав, что счастье каждый понимает по-своему — тут он поднял голову: как раз эту повесть он сейчас мысленно перечитывал и слова были ему знакомы, — девушка пообещала честно жить, много трудиться и крепко любить эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной. И вдруг разрыдалась.

Школьники снисходительно переглянулись. Гурьбой окружавшие каре родители сочувственно заулыбались. Учителя еще оценивали, насколько происходящее вписывается в привычный протокол. Но высокий худой завуч уже торопливо подбежал к чувствительной старшекласснице и склонился к ее уху, успокаивающе положив руку на плечо.

Именно к этой выпускнице первоклассник и побежал потом со своим тощим букетиком, хотя уже заранее наметил себе выпускника, припасшего в качестве подарка игрушечный, но в ножнах, почти неотличимый от настоящего кортик.

Она наклонилась навстречу и протянула к нему руки. Так разбежался, что угодил в ее объятия и задохнулся от непривычного волнующего запаха, скорее, смеси двух ароматов: вымытых душистых волос и еще другого, неведомого происхождения.

Потом старшеклассники отправились на последний урок, а им в актовом зале показали кинофильм. Несчастный чернокожий юноша, полюбивший белую девушку, ответная любовь, побег, яростный гнев отца девушки, погоня...

Сверток с подаренной ею книгой развернул лишь придя домой. Это были «Мифы и легенды Древней Греции».

Занятия в школе окончились, но он снова забрался с книгой в свое убежище. У глухой стены постройки в незапамятные времена были сложены старые шпалы. Потом к ним добавились бревна, и это сооружение было скреплено ржавыми скобами. Здесь, отгородившись от всего и всех, можно было читать запоем, забыв о невыученных уроках и не чувствуя голода. Именно потому, что недалеко отсюда помещался завуч, сюда редко заглядывали школьники. Мелкая птица охотно обитает вблизи логова крупного хищника, и он здесь чувствовал себя в безопасности.

Циклоп Полифем только что лишился единственного своего глаза, и тут же он в своем убежище услышал голоса. Он думал, они принадлежат обитателям двора за высоким забором слева. Женщина громко всхлипывала, спокойный мужской голос упрямо настаивал на своем. Выглянул из убежища и подошел к забору. Никого. Вернувшись, заметил корешок тетрадки, выглядывавшей из щели между бревнами, и вытащил ее. Колорадский жук на обложке...

Развернул тетрадь. Почерк неровен, и содержание непонятно. Странное сочинение в форме дневника школьницы. Учитель, которого она почему-то страшно боялась. Потом что-то все-таки произошло, но что? Вдруг в его убежище заглянула та самая десятиклассница и отобрала тетрадку. Посмотрев мельком на обложку книги, улыбнулась, шмыгнув носом, и, потрепав его по стриженной голове, убежала.

Царивший на Олимпе порядок органично проецировался в окружавший его мир. Древнегреческая и школьная космогонии были чрезвычайно схожи. Окруженный сонмом учителей директор, деспот и громовержец, периодически мечущий свои громы и молнии. Стоящая у его трона Фемида — завуч младших классов. Учительская, где определяются судьбы учеников. Наконец, сами учителя, каждый из которых, отвечая за свой участок космоса, был героем множества мифов. Но больше всего будоражили воображение подлинные властители судеб, неумолимые мойры. Кто они, и где хранится тот самый свиток судьбы?

Главное свойство летнего украинского неба ночью — его абсолютная чернота, совершенно космическая.

В такую ночь даже окрестности собственного жилья таинственно и неуловимо преобразуются, словно чья-то рука сдвинула знакомые дома и деревья, так что привычные расстояния изменились.

Что делать в этой черноте ночью двенадцатилетнему мальчику? Но ведь это был тот еще мальчик или, как выразился классик, просто «тот» мальчик. Некоторые всерьез утверждали, что видели его одновременно в двух-трех местах сразу. Другие утверждали, что он задумчив, рассеян, и не удивлялись его привычке погружаться в многочасовое чтение, затаившись где угодно, только бы не мешали. Вечерами он зачитывался до глубокого сна так, что родителям приходилось раздевать его и под руки вести к постели, сам он почти никогда не помнил, как засыпал.

Но потом, проснувшись ночью, долго не мог уснуть. Под эшафотом английского короля спрятались постаревшие на двадцать лет мушкетеры, по радио-

активной пустыне гуськом брели сквозь завесу поднятого бурей песка потерпевшие бедствие астронавты, и благородный граф-мститель с горечью встречал утро дуэли, жертвенно и великодушно готовясь к добровольному уходу из жизни.

Спать совершенно не хотелось. Он выскользнул во двор.

Зачем — этого он не знал. Что-то подняло его с постели, какой-то сразу же забывшийся сон, воспоминание, но о чем? Что-то было там одновременно волнующее и страшное.

Волнующим и страшным одновременно в его представлении было, пожалуй, только одно. То самое. Названия не было. Не то чтобы любовь, как акт, была лишена глаголов, но... А слова «секс» тогда никто еще не слышал. Да и что бы оно прояснило?

Описания этого в романах были волнующими, но уклончивыми. Литература специальная оперировала сухой терминологией. Уличный фольклор поражал подробностями, в которые вначале просто не хотелось верить. Потом он установил для себя некий компромисс: скорее всего, все родители некогда — притом только один или два раза — по числу детей — все же пошли на это... Но, видимо, есть и нечто другое, к тем подробностям не сводящееся, волнующее и все же страшное. Он был книжным мальчиком, для которого и поцелуй — сущий пустяк, по словам многих сверстников, — был чем-то немислимым и почти столь же страшным.

Сверстники частенько отправлялись группой в соседний квартал, где проживала высокомерная красавица-шестиклассница по кличке Миледи. Обычно до выхода во двор она не снисходила, а располагалась в проеме открытого окна своей квартиры на первом этаже. Рядом на крыльце дома — стайка хихикающих конфиденток. Пришедшие обращались и к ним, но каждый участник раута отлично понимал: все предназначалось только для того окна. Раскованные позы и рискованные остроты, воспоминания о приключениях, рисовавшие автора мужественным бретером, и — словно бы меланхолическое перебирание четок — виртуозное жонглирование мячом.

Наконец потерявшая терпение мать Миледи решительно прерывала аудиенцию. Окно закрывалось, и чудное виденье скрывалось за плотными занавесками. Высокое напряжение беседы разом пропадало, и кавалеры, покалякав для виду еще полчаса, степенно расходились.

Он тоже порой присутствовал на этих посиделках, но не свободно конкурирующим участником, а заведомо к этой борьбе за сердце красавицы непричастным и лично незаинтересованным созерцателем, летописцем и ходячим справочником. К нему обращались за подтверждением достоверности каких-то легенд, его авторитет книгочехи среди сверстников был непререкаем, хотя и сродни тому насмешливому уважению, с которым их родители порой поглядывали на учителей: он тоже слегка был не от мира сего.

Пролез сквозь дыру в заборе, отделявшем эти задворки от задворков школьных, пошел, разводя руками высокую траву с гроздьями крошечных головок на концах стеблей, и оказался у входа на заброшенное еврейское кладбище, от которого остался лишь десяток могильных камней, почти полностью скрытых наслоениями текущей эпохи. Дальше начинались заборы, ограждавшие сопредельные территории, и среди них двор, где он в последний год бывал часто, входя туда со стороны улицы. Окрестности тонули во тьме, и все вокруг не имело никакого отношения к повседневной жизни, до начала которой оставалась еще целая ночь. Здесь было тихо, и над головой — торжественные небеса.

Слово «мезальянс» было ему в принципе знакомо — благодаря картине художника со странной фамилией Ге, но брак немолодого завуча и старшей пионервожатой мезальянсом не казался. У многих его сверстников отцы были значительно старше матерей, хотя и не настолько: следствие послевоенной демографической ситуации. Да и Татьяна Григорьевна не казалась ему столь

уж молодой. Странно было только, приходя в этот никогда не пустовавший дом, изредка видеть Ивана Ивановича в домашнем обличье. У него, впрочем, был кабинет и еще какая-то комната, куда никто из вечно толпившихся здесь школьников никогда не смел заглянуть. При крайне редких встречах с детворой Иван Иванович вел себя подобно льву, хмуρο поглядывающему на толпящихся рядом с ним у ручья ягнят, но — то ли соблюдающему неписанный закон водопоя, то ли слишком занятому собой, чтобы заняться ими именно сейчас.

Татьяна, как называли ее учителя, а за глаза — и вся школа, была вечно окружена детворой, не прерывала своей работы и после уроков: обсуждать предстоящие школьные вечера и репетировать готовящийся втайне спектакль приходилось дома.

Почти незримое присутствие грозного начальства, находящегося сейчас вне полицейских своих обязанностей, придавало этим сборищам особый привкус близкой опасности и расслабляющего праздника одновременно. Ведь школьники редко задумывались о сути профессиональных обязанностей завуча и искренне полагали, что на уроки он приходит контролировать не учителей, а именно их, учеников.

Чуть задержав дыхание, он легко проскользнул между досками ограды и, раздвинув кусты, потянулся к развесистым ветвям яблони. Окна в доме завуча были погашены, и лишь какие-то неясные тени рисовались в непроглядной тьме.

Сорвав яблоко, собрался покинуть двор, но какой-то странный медленный и ритмический то ли хруст, то ли шорох, к которому присоединялись тяжелое дыхание и невнятный шепот, заставил его задержаться у забора. И вдруг он понял, что это означает, и у него пересохло в горле, сердце забилось сильно и страшно, а ноги словно приросли к земле. Идти назад — и обнаружить себя — или оставаться на месте? Внезапно вдали загрохотал идущий мимо станции поезд. Под прикрытием этого грохота он сделал три быстрых шага и оказался у террасы, откуда исходили эти звуки. Четвертой стеной террасы служил занавес из винограда. То, что происходило там, происходило на расстоянии вытянутой руки, и даже в темноте было видно. Так он простоял целую вечность. И только грохот следующего поезда позволил ему вначале оказаться снова у ограды, а затем медленно и бесшумно покинуть двор. Выбравшись на пустырь, он лег в траву и лежал еще долго, пока сердцебиение не улеглось. Лишь теперь осознал он увиденное и услышанное, а весь предыдущий час — только смотрел и слушал, стараясь не задохнуться от волнения и страха.

В следующую ночь, когда даже собаки за окном устали облаивать редких прохожих и заснули, он снова отправился к той террасе. Однако духота последних дней сменилась прохладой, и стоявшая там кровать пустовала. Он вновь дождался жары. На этот раз обитатели террасы мирно спали. Он собрался было уходить, но вернулся, услышав их невнятные голоса. Женщина сонно просила оставить ее в покое, мужчина упрямо настаивал. Последующее опять повергло наблюдателя в полный шок: когда все кончилось, он еще долго сидел на траве, прислонившись спиной к невысокой ограде, под мерное дыхание уснувших супругов. Потом ушел, твердо обещая самому себе не приходить сюда больше. Он чувствовал себя преступником, испытывая не только угрызения совести, но и искренний страх, и убежденный, что заслуживает самой страшной кары и — если будет изобличен — немедленно отправится в детскую колонию. Там, по слухам, некогда побывал один из нынешних выпускников, и пятиклассники, тщетно высматривавшие на веснушчатой его физиономии зримые следы причастности к таинственному преступному миру, с уважением и сочувствием глядели ему вслед.

Ему действительно было невыносимо стыдно. Хорошо еще, стояло лето. Завуч вообще на улице появлялся редко, а Татьяну Григорьевну он высматривал издалека и немедленно прятался, чтобы ненароком не встретиться с ней. Он был уверен: стоит ей заглянуть ему в лицо, и она немедленно обо всем догадается.

Но проходила неделя, и, несмотря на страх и угрызения совести, он снова отправлялся в тот двор. Ему удавалось остаться незамеченным, и безумное его любопытство бывало с лихвой вознаграждено. Надо заметить, что двигало им в этих рискованных предприятиях только любопытство. Ничего из увиденного он, даже в мыслях, не примерял к себе. Высочайший градус этого любопытства определили несколько обстоятельств.

Начало второй половины прошлого века. Провинциальный городок. Единственный кинотеатр и детские утренние киносеансы, мультфильмы, где говорившие голосами мхатовских корифеев наставники-медведи занудно просвещали двоичников-зайцев. Инфантильный пятиклассник, давно прочитавший все — от Жюль Верна и Стивенсона до Дюма и Вальтера Скотта — и уже подбирившийся к томикам в читальном зале для взрослых. В этот зал его не впускали, хотя, например, о похождениях Феликса Круля прочесть ему уже удалось. В окружавшей его атмосфере чрезвычайной строгости и государственного целомудрия то, что он увидел ночью, было прежде всего грандиозным и невероятным зрелищем, дерзко нарушавшим «безрадостные правила мира».

В повседневной жизни старших ребят из его квартала — он изредка бывал допускаем в их круг на упомянутых уже правах книгочех и ходячего справочника — тема сия была чрезвычайно актуальной и горячо и подробно обсуждалась.

Но по меньшей мере половина услышанного там казалась ему чудовищными фантазиями и измышлениями.

Узнать об «огне страсти, освещающем не маску человека, а его подлинное лицо» ему предстояло еще не скоро.

В отличие от множества своих сверстников, он не был сексуально озабочен. Он был еще мал и чересчур инфантилен.

Нельзя сказать, что увиденное вполне просветило: он ведь ничего толком не знал и, исходя из услышанного от старших парней, считал: в этом деле активной и заинтересованной стороной является лишь мужчина. Женщина уступала победителю либо покорно исполняла супружеский долг.

Точно так происходило и на террасе. Татьяна Григорьевна отдавалась лишь уступая настойчивым притязаниям мужа, Иван Иванович начинал и выигрывал партию, периодически нахваливая супругу и комментируя свои ощущения. Она же ни разу не проронила ни звука, следовательно, являлась стороной пассивной и как бы страдательной, что отчасти ее оправдывало.

В вину обоим, в сущности, предававшимся законным супружеским утехам учителям ставился сам этот выход за пределы облика сугубо педагогического, выход, право на который они потеряли: обет если не безбрачия, то хотя бы той самой навеки установленной и освященной государством дистиллированной правильности.

Симметрии здесь быть не могло: наслаждающийся в весьма специфической позиции мужчина инстинктивно осуждался менее, чем потворствующая этому женщина, чья потрясая его во вторую ночь и совершенно неприемлемая поза была уже многократно осмеяна в уличном фольклоре. К тому же — все это оказалось правдой...

Тем не менее, она упорно демонстрировала реабилитирующее ее полное равнодушие к своей участи. Так что он порой даже испытывал сочувствие к даме, с закрытыми глазами лежавшей на боку и, казалось бы, спящей, но содрогавшейся от толчков помещавшегося за ее спиной партнера так сильно, что полная ее грудь подпрыгивала и сотрясалась.

О том, что и женщина может при этом испытывать по меньшей мере приятные ощущения, он ничего не знал. От него оказались также совершенно скрыты причина и смысл имевшего изредка место бурного финала. Дело в том, что все свои манипуляции Иван Иванович обычно производил чрезвычайно плавно и размеренно. Когда же мерный и какой-то даже вдумчивый скрип кровати сменялся изредка интенсивными и отчасти хаотическими ее сотрясения-

ми, он думал, что супруги встанут с постели, и, боясь быть обнаруженным, прятался, сжавшись в комок, за густым основанием виноградного куста.

Так что основным содержанием любовного акта он считал именно эти однообразно размеренные движения, зрелище которых к концу лета ему уже приелось. Да и любовным сей акт мог считаться весьма условно, ввиду всегдашней нежелательности его для женщины и полной для обоих участников обыденности.

Даже страстный поцелуй показался бы ему теперь более интригующим зрелищем. Но представить себе строгого Ивана Ивановича целующимся было невозможно.

Значит, романы врут, либо существует все-таки еще нечто, как и это — поначалу — столь же волнующее и сводящее с ума, но к увиденному все же не сводящееся.

И он отправился первого сентября в свой шестой класс, обнаружив, что при неизбежных уже встречах с Иваном Ивановичем и Татьяной Григорьевной ничего особенного не происходит. Завуч вообще не удостоивал его вниманием, пока за ним не числилось новых подвигов. С Татьяной Григорьевной дело было сложнее. После каникул общественная жизнь в школе забурилась с новой силой и надо было общаться с ней так же часто, как и прежде. Он старался свести эти встречи к минимуму, а в их доме не появлялся вообще.

Но теперь ему стало казаться, что она что-то знает, он невольно толковал таким образом любую необычную ее интонацию и любой взгляд. При одной только мысли об этом его бросало в жар. А потом он успокаивал себя невероятностью, немислимостью такой возможности.

Домашние события на время отвлекли его: годами уже тлевшая в их доме ссора родителей обострилась, и отец переехал в большой дом у реки, где жила бездетная учительская пара, его давние приятели. Соседи говорили о предстоящем разводе. Мать вела себя так, словно ничего не произошло. С отцом он встречался довольно часто. Они сидели в тенистом сквере за столиком у киоска. Сидели молча: он сосредоточенно поглощал мороженое, а отец внимательно изучал его дневник, отпуская саркастические междометия при виде хвостатых двоек, неодобрительно хмыкал, встречая многочисленные тройки, мучительно прищурив глаза, разбирал многословные — иногда поперек всей страницы дневника — отзывы классного руководителя о возмутительном поведении сына.

Потом грустно смотрел, ожидая объяснений. Но не особенно ругал, видимо, полагая, что причиной являются эти самые их семейные неурядицы. И ошибался, так как к ссоре и предстоящему разводу родителей его сын относился на удивление спокойно, то ли привыкнув к давно дующему конфликту, то ли потому, что виделся с отцом достаточно часто, в сущности, почти так же часто, как и прежде: отец и раньше отлучался из дома надолго.

Конфликт с самим собой: как забыть виденное и спокойно жить дальше? — не давал ему покоя. Выход нашелся неожиданно: готовя большую инсценировку для школьной сцены, они стали встречаться с Татьяной почти ежедневно, и частота этого общения сделала его привычным и уже не столь волнующим. Была зима, и Татьяна Григорьевна обычно ходила в теплом свитере с высоким горлом и длинной юбке из плотной ткани. В этом плотно закрывавшем ее одеянии она совсем не напоминала ту женщину, казавшуюся ему в темноте, из-за белизны незагорелого обнаженного тела, огромной. Иногда лишь, находясь в противоположном от ступенек конце сцены, она ловко соскакивала на пол актового зала, и грудь ее при этом упруго подпрыгивала, мгновенно напоминая о запретном видении. И тогда лицо его на миг становилось пунцовым.

В этом году у них стал бурно проявляться интерес к противоположному полу. Сплетни: кто за кем «бегают», кто с кем «ходит»... По классу интенсивно курсировали записки, после уроков галантные кавалеры ждали своих дам у

школьных ворот, изображая на физиономиях при появлении учителей высшую степень равнодушия и отрешенности.

Эта первая любовная горячка его совершенно не затронула. И вовсе не потому, что он был занят давними переживаниями. Как ни странно, его инфантильность не уменьшилась ни на йоту, и девочки-сверстницы были для него все так же пугающе недоступны. Он даже представить себе не мог, что можно, например, лихо прижать к себе одноклассницу, возмущенно зардевшуюся и награждающую нахала тумаками, но в обморок от такого оскорбления отнюдь не падавшую. Это у него самого при виде таких эскапад наиболее нахальных сверстников голова кружилась чуть ли не так же, как в те ночи...

Ему, книжнику, было непросто в окружении, где основным средством убеждения и критерием правоты являлась физическая сила. Сам он дрался лишь по крайней необходимости, защищаясь, причем глаза его тогда затуманивались бешеным гневом, и он уже ничего и никого не боялся. Это снискало ему отчасти уважительную характеристику «психа» и постоянно провоцировало остальных задирать его. Он же вечно считал себя обязанным доказывать остальным собственные смелость и лихость, из-за чего пускался в предприятия гораздо более рискованные, чем можно было предположить по его «профессорскому» виду.

По количеству «записей» в классном журнале он был впереди многих других. В конце классного журнала были вклеены специальные листы, на которых учителя записывали совсем уж из ряда вон выходящие провинности. Директор, проводя неожиданную, словно набег Мамаю, и столь же жестокую инспекцию, первым делом открывал журнал и искал новые «записи». После грандиозного разноса с оргвыводами под последней из них подводилась жирная черта, и директорская подпись свидетельствовала об истощившемся терпении и грозных карах, ожидающих нарушителя в случае рецидива.

И вдруг в один прекрасный день эти вклеенные в журнал листы исчезли. Все и повсюду обсуждали только одно: кто посмел это сделать?

Взоры обратились к самому отпетому второгоднику, державшему в страхе и повиновении одноклассников и вызывавшему восхищенное смущение многих одноклассниц. По количеству записей он опережал всех. Вторым шел сумрачный великан, тоже переросток, обладавший необычайной силой, но проявлявший ее с осторожностью, грубиян и абсолютный двоечник, к подобным поступкам, впрочем, совершенно не склонный. Третьим был он.

Директор в классе пока не появлялся. Доложить ему о пропаже не смел никто. В воздухе запахло грозой.

Однажды, после звонка с большой перемены, дверь класса еще раз открылась — и после добрейшей Марьи Ивановны в класс вошел Иван Иванович.

Все приготовились к скандалу средней тяжести: в прошлый раз, когда кто-то обратился к учительнице по имени и отчеству, «отпетый» мгновенноотреагировал хорошо известным по переключке из довоенной комедии «Му-у-у...». Сейчас начнется... «Отпетый» вздохнул и внимательно уставился в дальний угол. Остальные облегченно закрыли дневники и отложили учебники.

Но завуч коротко шепнул что-то Марье Ивановне на ухо, после чего она, понимая кивнув, покинула помещение. Класс затаил дыхание.

Иван Иванович тихо и сдержанно приступил к делу, его негромкий голос завораживающе действовал на привыкших к истерическому крику учительниц школьников. Он был краток. Да, директор пока не знает. Пока. Он пришел сюда, чтобы помочь им. Он хорошо знает, как все это было. Это всегда бывает одинаково. У кого-то поднялась рука на журнал, на школьную святыню. Кто-то перед этим подзуживал и подбивал, сам подло и трусливо оставаясь в стороне. Но и те, и другие должны сейчас признаться, избавив от позора весь класс. Именно в таком признании заключается настоящее мужество. Это все. Он ждет. Кто это сделал?

Наступила гробовая тишина, изредка лишь прерываемая нервными покаш-

ливаниями. Он тоже ждал, с любопытством, которого было стыдно: виновника ожидали крупные неприятности. Кто же все-таки?

Внезапно поднялся тот, от которого этого никто не ждал. Это был ухоженный мальчик из семьи известного городского начальника, лентяй и троечник, но с симпатичным лицом всеобщего любимца, невысокий, но сильный и ловкий, пользовавшийся авторитетом отчаянного сердцееда. Ему ничего никому не приходилось доказывать, и ничего особенного за ним не числилось. Запись, быть может, две — не больше, чем у других.

Иван Иванович, при всей уверенности в силе своего воздействия на класс, кажется, даже удивился.

— Это я сделал. Вместе с... — Всеобщий любимец назвал фамилию «отпетого». Сказано было сдержанно и веско, в тон короткой речи завуча.

— А кто же подговорил?

— Он.

И всеобщий любимец хладнокровно назвал... его фамилию. Весь класс повернулся к нему, в одночасье лишившемуся дара речи. Мало того, что он только что впервые узнал об участниках акции. Разумеется, он — как и другие — не раз высказывался в том смысле, что — хорошо бы, чтобы не было этих проклятых листов. Но разве мог бы «подбить» на что-либо обоих этих «авторитетов» он, к которому они относились как к наивному чудаку и «профессору кислых щей»...

— Все трое пойдете со мной, — удовлетворенно вздохнул завуч, и они вышли из класса, провожаемые тремя десятками взглядов.

Симпатичный мальчик блистательно сориентировался в ситуации. Выдать «отпетого» он не боялся. «Отпетый» был отпет давно и окончательно, ничего существенно нового ему уже не грозило, да и исключению из школы он бы только порадовался. Сам признавшийся в тени отпетого соратника выглядел почти героем, романтиком, поддавшимся «подзуживанию». Получив от опытного партнера блестящий пас — сказал же завуч, что обязательно кто-то подбивал, — он с недетской сообразительностью «сыграл в стенку».

Ведь бессмысленность обвинения в «подзуживании» очевидной была, увы, лишь для сверстников, но не для учителей. Всеобщее внимание немедленно уходило с признавшегося героя на маргинального «профессора». Ученая белая ворона — подлый и трусливый провокатор, как отражение известных коллизий разоблачительных кинофильмов той эпохи. Прекрасная кандидатура для всеобщего осуждения на показательном и открытом процессе-педсовете: весь класс был приглашен, все родители...

Наверное, никогда в своей жизни он не испытал страдания такой силы: несправедливое обвинение и незаслуженное наказание, всеобщее презрение и полное равнодушие тех, кто прекрасно понимал: не мог же этот книжный мальчик, над которым постоянно посмеивались, быть вдохновителем действий тех, кто вообще не удостаивал его вниманием. Понимали и молчали: никто не решался сорвать этот педагогический спектакль, как не решились на это ни разу их отцы и деды, зрители и свидетели спектаклей посерьезнее.

Когда он вышел из актового зала, где проходил этот педсовет, родители его — вызвали обоих — еще получали свою порцию наверху, в кабинете директора. Он ждал их этажом ниже, в пустынном коридоре. Проходя мимо «пионерской комнаты», увидел внезапно, что она не пуста. Татьяна Григорьевна подняла на него глаза.

У него было такое лицо, что она отвела взгляд. Потом поднялась и подошла, положила руку на его голову и мягко притянула к себе. Он вдруг засопел и, уткнувшись в ее грудь, зарыдал, сотрясаясь и всхлипывая, чувствуя, как слезы текут по его щекам, вдыхая исходящий от нее волнующий запах и мысленно прося у нее прощения, которого ему никогда не получить, ибо ведь и не сказать никогда, и навсегда остаться виноватым перед ней.

Это уходило его детство. Не птицей, выпорхнувшей из рук, а вместе с этими злыми слезами.

Прошел год. Потом еще два. Тот педсовет и все пережитое не прошли даром. Характер его изменился, он стал более угрюмым и скрытным. И он стремительно вырос, превращаясь из мальчика в подростка. Не стал смелее со сверстниками. Но его отношение к Татьяне менялось.

То давнее, о чем поначалу было так трудно забыть, все-таки почти забылось, осталось воспоминанием, подобным воспоминаниям многих детей, в детстве увидевших или узнавших что-то запретное и потом загнавших это вглубь, где оно дотлевало.

За эти годы он перестал быть маргиналом в среде своих сверстников. Перейдя в разряд старшеклассников, они переходили и в руки учительской элиты этой лучшей в их городе школы. Максимум кривой зависимости авторитета от свойств субъекта сдвинулся в сторону интеллекта и образованности, а берег, соответствующий грубой силе и браваде невежеством, сильно обмелел.

Ушел из школы «отпетый», и их компания перестала наконец походить на стаю, где молодые волки состязались в лихости, стараясь выделиться ею в глазах всеильного вожака.

Однажды Татьяна Григорьевна заменяла заболевшего историка. На редких ее уроках царил тишина, и вовсе не потому, что она была женой всеильного завуча. Татьяну просто любили. Ревнуя ее к классу, привыкший быть центром внимания «отпетый» невыносимо скучал. И на перемене завел разговор о Татьяне Григорьевне, обильно употребляя терминологию из уличного фольклора. «Баба она, конечно, классная, — заключил он, — я бы сам ее... Жаль, там же дядя Ваня... — Иван Иванович прозвища не имел, но «отпетый» не называл учителей по имени и отчеству. И тут «отпетый» вдруг повернулся к нему, сидевшему поодаль. — Ты ведь там с ними почти рядом живешь, так пошел бы разок, заглянул в окно: интересно, как он ее...»

Он поднялся и, подойдя к «отпетому», ударил его по лицу. Ударил в полную силу, но главным была полнейшая неожиданность этого, так что «отпетый» не удержался на ногах. Класс затаил дыхание. «Отпетый» медленно поднялся, и тут он взял лежавшие на парте ножницы и крепко сжал их в кулаке.

«Отпетый» был старше и неизмеримо сильнее. В сравнении с любым своим одноклассником он был как взрослый мужчина. Ножницы — пустяк, при желании он мог и собирался уже избить его одной левой. Но по этой немислимой еще недавно затрещине, по решимости на лице «профессора», сжимавшего в руке ножницы, по тому, какая особенная установилась в классе тишина, он понял, что эта история может кончиться очень плохо. Повернулся и вышел из класса. На другой день, встретив его у школы, «отпетый», не говоря ни слова, нанес ему увесистый удар, после чего под глазом полмесяца красовался синяк. Но теперь этот синяк был — как почетный шрам. А вскоре «отпетый» и вовсе покинул их класс, перейдя в вечернюю школу.

По взгляду Татьяны Григорьевны, не спросившей его о синяке, он понял, что ей не замедлили доложить о происшедшем.

Нынешнее его отношение к ней было смесью уважения, влюбленности, ревности и, конечно же, некоей утраты дистанции. Ему было трудно признать самому себе в том, что он никак не может простить ей равнодушной покорности, с которой она отдавалась этому крайне несимпатичному человеку, бывшему вдвое старше ее. Но, с другой стороны, — с законным мужем ведь, и дело это совершенно житейское...

Эта утрата дистанции имела место только там, в мыслях. Рядом с ней дистанция была — как полагалось. Их отношения становились все более дружескими, а весной, когда вновь начались репетиции, они еще больше сблизились. При этом для него она оставалась взрослой замужней женщиной, вызывавшей

робость. Разве что загадочности, присущей в его понимании всем взрослым женщинам, в ней было поменьше — ровно на величину тех воспоминаний.

Татьяна Григорьевна заочно окончила исторический факультет и частенько заменяла историка в их классе. И она не просто пересказывала учебник. От нее он впервые услышал о Талейране и Фуше, а потом она принесла ему том исторических повестей Цвейга, который он зачитал до дыр, и сам уже принялся за книги Тарле о наполеоновском времени. А он приносил ей Лема и Брэдбери и поражал ее вычитанными из научно-популярной литературы подробностями устройства Вселенной. Прибежал к ней с последним романом братьев Стругацких и потом несказанно обрадовался ее восторженному отзыву. Разница в их возрасте казалась ему огромной, и порой он забывал, что, в сущности, она — совсем еще молодая женщина. Но он помнил и ту школьную Доску почета (слева и справа — профили: один с бородкой, другой с усами, плюс обязательные серпы-молоты, колосья и разрисованный под мрамор мощный постамент), где их фотографии оказались когда-то рядом. Он увидел их после того последнего звонка. Выпускница с копной русых волос и печальным взглядом и первоклассник с испуганно вытаращенными глазами.

Им было по-настоящему интересно друг с другом. А его репутация книжника и идеалиста, его несомненная инфантильность не оставляли ни малейших сомнений в совершенной невинности этой привязанности, так что на лицах видевших их вместе возникала лишь снисходительная улыбка, которую у всех вызывали его горячность и всегдашняя восторженность.

А потом наступило время, когда она начала невероятно волновать его. Если случалось нечаянно к ней прикоснуться, он покрывался гусиной кожей. Однажды она попросила завязать на ее руке повязку дежурного учителя. Борясь с тесемочками, он вдруг уставился на ее совсем близкую грудь и вернулся к повязке лишь встретив ее спокойный, но выжидающий взгляд. Порой испытываемые им чувства совершенно противоречили друг другу, и он пытался как-то совладать с этой переполнявшей его гремучей смесью.

Однажды ночью он проснулся и долго не решался пошевелиться. Это был сон, только сон, но он был ужасен. Разумеется, он давно уже не был тем наивным ребенком, каким был всего года четыре назад. Но все это — и прочитанное, и когда-то увиденное — никогда не имело ни малейшего отношения к нему самому. А в эту ночь впервые он сам, а не другие, оказался действующим лицом. Весь сон не запомнился, только последнее, но совсем уж немыслимое: с грубой и совершенно неведомой ему страстью он овладевал ею, как-то странно покорно раскинувшейся под ним, и все это было абсолютно реальным и непривычно плотским до брезгливого отвращения к самому себе. Отвращение это не покидало его, когда он поспешно приводил в порядок постель и, стараясь думать о другом, долго еще потом лежал подавленный и опустошенный.

В это утро он проснулся не просто засветло. Просыпался раз десять, совершенно, как тот первоклассник из детского стишка, и по той же причине: первое сентября, самый будоражащий день года. Точно так же он волновался и в прошлом году, и в позапрошлом. Но в этом году особенно.

Поскольку школьная космология была похожа на древнегреческую, само сознание школьника, подобно эллинскому мирозерцанию, еще не было обращено к грядущему и годами двигалось по кругу, лишь в выпускном классе устремляясь в уже не привычно коллективное, а единственно твое будущее. И этот круговорот всегда начинался первого сентября.

После лета, столь долгого, что, казалось, выходил из него в осень уже неузнаваемо другим, наступал удивительный день встречи со всем, что вступало в этот новый виток вместе с изменившимися тобой, тоже за это время изменившись. Эти-то изменения и были самым интересным и волнующим. Запах свежей краски, наполняя классы и коридоры, кружил голову, и в этом празд-

ничном дурмане, как долгожданные гости на балу, появлялись все новые и новые действующие лица. И у них позади было бесконечное лето, в течение которого хилый заморыш-подросток мог превратиться в спортивного вида юношу, а ничем не примечательная дурнушка — в загадочную и недоступную принцессу. Учителя за лето менялись не столь разительно, но по многим из них просто соскучились и окружали, наперебой стараясь обратить на себя внимание и никогда ни о чем — даже просто о здоровье — не спросив самих учителей, настолько к этому невинному эгоизму своих любимцев приученных, что любой из них, пожалуй, был бы таким вниманием премного озадачен.

Вот все они стоят на высоком школьном крыльце, встречая подходящих отовсюду школьников и оживленно беседуя между собой. Когда они, разделив восторг и энтузиазм очередной подходящей к ним группы, вновь поворачиваются друг к другу, странно видеть, как искренние улыбки на их лицах медленно сменяются озабоченностью, порой печалью. Но эта картина, всегда вызывающая в душе чувство любви и боли, застывшей фотографией не кажется, ибо каждый из них оставался учителем еще десятилетия, хотя все они старели, покидали школу, болели, иные умерли, а кое-кто оказался далече. И воспоминания об этом удивительном коллективном состоянии — учителя, их ученики и еще, конечно же, время, дившееся примерно полтора десятилетия, — всегда вызывали из памяти старомодное слово — Лицей.

Тогдашнее время характеризовалось смягчением нравов провинции и всеобщим просвещением ее обитателей. Еще ребенком он, читая в городском транспорте, немедленно обращал на себя взоры попутчиков: «Брось, глаза испортишь!..». Покраснев и насупленно уткнувшись в книгу, он продолжал читать, слыша за своей спиной реплики пассажиров. Кто-то уже произносил монолог о тщетности книжных премудростей вообще, кто-то мечтательно вздыхал: всех бы этих учителей и врачей — да к ним, на кирпичный завод...

Он по-прежнему оставался «активистом», пропадавшим с утра до вечера в школе, где постоянно была и она. Но возможность видеть ее все же не была целью: так реализовывался его общественный темперамент.

Были среди них и два-три юных расчетливых, с видами на последующую карьеру, но большинство, как и он сам, были совершенно бескорыстны.

В своем школьном микрокосмосе они увлеченно создавали некую модель и отражение недолговечной и никогда до конца не реализованной химеры — смеси коллективизма с искренним индивидуальным порывом, языческой депотии с подобием абсолютизма просвещенного — не это ли потом назовут социализмом с человеческим лицом?

Однажды Иван Иванович уехал в областной центр на учительскую конференцию. Вечером он оказался у них в доме вместе с одноклассницей, такой же записной активисткой, каким был он сам. Татьяна Григорьевна куда-то отлучилась. Одноклассница, высунув от старательности язык, рисовала на большом листе ватмана заголовок, а он слонялся по комнате.

Не удержавшись, заглянул и в кабинет Ивана Ивановича. Там не было ничего особенного: письменный стол, два книжных шкафа, и в одном из них полное собрание сочинений только что разоблаченного вождя. Он не обратил бы на это внимания, если бы не курсирующие повсюду отголоски происходившего в стране и та поэма, где о недавнем прошлом говорилось с горечью и, казалось, так смело, притом что это было напечатано в самой главной газете. Он перевел взгляд на стол и увидел на нем два ключа на толстом, спиралью свернутом колечке. Ключи лежали на столе поверх бумаг, и было ясно: их не успели куда-то переложить, просто забыв здесь в спешке.

Он заглянул в комнату: одноклассница, согнувшись над листом, осторожно макала кисточку в краску. Из прихожей слышались шаги вернувшейся

хозяйки. Он поспешно покинул кабинет, но, проходя мимо стола, схватил ключи и опустил их в карман.

Один из ключей был маленький и плоский. От какой двери был второй ключ, он догадался сразу. Такой ключ мог подходить к старому замку, вделанному в выкрашенную той же краской, что и стены, дверь в тупике коридора рядом с кабинетом Ивана Ивановича. Когда-то давно он стоял в этом тупике в ожидании своей очереди, машинально ощупывая пальцами литые завитки окантовки отверстия для ключа и прислушиваясь к доносившимся из кабинета горьким всхлипываниям предшественника, изредка прерывавшимся спокойными репликами завуча.

Сюда могли прийти только к Ивану Ивановичу. Поэтому он спокойно открыл дверь и оказался в набитом всяческим хламом помещении без окон, примыкавшем к торцу постройки. Здесь было темно и пыльно. Никакой лампочки под потолком не было. Комната освещалась лишь светом из полутемного коридора, но тогда нужно было оставить открытой дверь. На стене виднелось слабое световое пятно. Там было небольшое окно, запертое на задвижку. Сквозь щели пробивался дневной свет. Стараясь ничего не задеть, он подошел к окну и отодвинул засов.

Окно не открылось полностью, но он сразу понял, куда оно выходит. Под самым окном были те самые бревна со шпалами. Его давнее убежище.

Он осмотрелся. Зрелище было довольно любопытным и напоминало описание плюшкинской обители. Это было кладбище целой эпохи. Всюду стояли пыльные бюсты. Гипсовые и из бронзы. Те, что побольше, — на полу, остальные — на тянувшихся вдоль стены полках. Они задумчиво и мудро поглядывали друг на друга, словно тут разом встретились все многочисленные чада одной гигантской усатой матрешки.

Штабелями были сложены портреты. Многие лица были ему знакомы. Отдельно у входа пылилась группа, возглавляемая Молотовым, лицо которого было знакомее лиц близких родственников, и замыкаемая кем-то ему неизвестным, вероятно, примкнувшим к ним Шепиловым, чья бесконечно повторенная фамилия уже не забывалась.

Повсюду высились штабеля из лозунгов. Содержание некоторых было не совсем понятно. Прославлялся некто Осовиахим. Или вот это, на украинском языке: «Ворог в Кирова стрыляв. Ворог в партию цыляв. За бийця-сталинця дибьем до кинця!»

Диван и стол с двумя стульями придавали помещению странно жилой вид.

Понадобился и второй ключ. Серый металлический сундук, набитый, как оказалось, школьными сочинениями. Что тут еще? Старые журналы. «Перец». На обложке — счастливо улыбались запорожцы: «...про Сталина-батяка, про нашу Москву...».

А дальше — выпускные сочинения за последние лет десять. Он листал их, из каждой пачки лишь верхнее, лучшее, — и перед ним разворачивалась школьная мифология — в обратном порядке, от дней нынешних к началу хрущевского десятилетия. Горький, Фадеев, Шолохов, Маяковский. Очень своевременная книга и самый человечный поклонник нечеловеческой музыки. Образы героев-молодогвардейцев. Путь середняка в колхоз. Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет.

Почерк все улучшался. И пассажи из нескольких до дыр зачитанных шедевров литературоведения из читального зала городской библиотеки сменялись искренними и трогательно наивными монологами.

На самом дне — тетрадка с колорадским жуком на обороте обложки... Развернул: «Писать только правду, а если нет, то лучше ничего не писать!» Выпускники далекого года по очереди отвечали на вопросы. Он переворачивал страницы. «Мои любимые учителя». «Как я отношусь к хозяйке тетради». «Что мне в ней особенно нравится». «Как я представляю себе будущее». Кто же был хозяйкой этой тетради?

Самым любимым учителем чаще всего оказывался Иван Иванович. К хозяйке тетради относились по-разному, но в целом — хорошо. Будущее представлялось замечательным.

И тут он понял, кто была эта хозяйка, чье имя не значилось в числе отвечающих. Судя по ответам, она ненамного изменилась с тех пор.

А где же та, другая тетрадь? Которую он когда-то начал читать. Начал с конца, прочитав лишь страницу. Что там было?

Он вышел из комнаты, запер дверь и отправился в то самое убежище под окном этой каморки. Уселся, согнувшись, — вырос за последние два-три года, — и стал вспоминать.

Он все вспомнил. Вернее, заново сложил целое из разлетевшихся его осколков. Те голоса доносились не из-за забора, а из окна, расположенного над бревнами. И это были они, там, в той комнате. И за дневником она пришла после разговора с завучем.

Только с тех пор прошла уже целая жизнь.

Он опомнился. Пора было уходить. Придя на следующий день к Татьяне Григорьевне, он дождался, когда она отлучилась на кухню, и быстро вернул ключи на место.

Высшим проявлением общественной жизни в школе были не комсомольские собрания, а школьные вечера. Готовились они тщательно и задолго, так что единственная сцена в актовом зале была вечно занята. Татьяна Григорьевна, только закончившая репетировать с группой готовившихся к олимпиаде малышей в пестрых национальных кафтанах и разноцветных юбках, едва успевала перевести дух и вновь спешила на сцену, где ее уже ожидали старшеклассники. Здесь гордая полячка надменно обмахивалась чудовищным веером и Печорин холодно поглядывал на изредка пробежавших по залу одноклассниц, а в первом ряду демонический Арбенин, скрестив руки на груди и запрокинув голову, тяжко задумался о предстоящей ему ужасной трагедии.

Вечера заканчивались непременно танцевальной программой. Здесь разрывались отношения и завязывались новые, и этот зал после окончания танцев служил исходной их точкой: отсюда кавалеры провожали дам домой. Бывшие важнейшим ритуалом ухаживания проводы — в случае их повторения — становились несомненным свидетельством начала романа.

Он до сих пор никого никогда не провожал. Вернее, провожал, но не девочек своего круга, а выпускниц, которые были на целых два года старше. Им было интересно беседовать с ним, потанцевать, и иногда, после вечера, он рыцарски предлагал свои услуги в качестве провожатого. Разумеется, ничего «такого» в этом не усматривалось и усматриваться не могло: разница — не в возрасте даже, а в степени зрелости — была очевидной. Но эти девушки, как говорилось, умели себя вести. Будучи уже взрослыми женщинами — по крайней мере ему они такими казались, а некоторые из них действительно ими были — с учителями и одноклассниками они вели себя так, что совершенно органично вписывались в школьную ситуацию, не нарушая ее неписаных правил и оставаясь с ними в доброжелательном и уже непродолжительном — до выпускных экзаменов — нейтралитете.

Однажды он отважился наконец проводить сверстницу, высокомерную принцессу из параллельного класса. Всю дорогу он старательно развлекал ее, так что красавица хохотала и смотрела на него, прощаясь, более чем снисходительно. В голове у него стремительно завертелись обрывки куртуазных легенд из мемуаров одного школьного Казановы, но преодолеть разделявшие их полметра он так и не решился, признавшись себе впоследствии, что затеял все это из спортивного интереса, возможно, стремясь что-то доказать остальным, а к принцессе — равно как и к иным сверстницам — никакого особенного влечения не испытывая.

В декабре стало известно о предстоящей новогодней поездке в Ленинград, притом на целую неделю — счастье неслыханное! Ленинград был для него тем же, чем некогда для гимназиста — Рим или Париж. Теперь всему прочитанному предстояло материализоваться.

Ни с кем из попутчиков его не связывали даже полуприяТЕЛЬские отношения, и, значит, все придется пережить в одиночку. С учительницами, сопровождавшими их, тоже не повезло: все три были порядочные зануды. Но в день отъезда выяснилось, что одна из них заболела и вместо нее едет Татьяна Григорьевна.

Весь день они просидели за столиком у окна, разговаривая друг с другом. За окном вдаль проплывали леса, мокнущие под нескончаемым дождем, а вблизи стремительно проносились голые сиреневые кусты. Их попутчики уходили и возвращались, а они все говорили и не могли наговориться.

Конечно же, они непрестанно общались и раньше. Совместное — с утра до вечера — пребывание в школе сблизило их настолько, что они уже изредка позволяли себе подшутить над тем, что в окружающей их жизни бывало фальшиво или нелепо. Он и тут соблюдал дистанцию и, отдавая должное ее принадлежности к преподавательскому корпусу, не позволял себе прямых высказываний о ее коллегах. Однако можно было улыбнуться друг другу понимающей улыбкой.

Все же окружавшая их жизнь замыкалась в стенах школы. А за пределы этих стен выводили только книги. Они и говорили весь день о книгах, в сущности, говоря о самих себе и открывая себя друг другу.

Но такой разговор неизбежно уводил в настоящую взрослую жизнь и ко всему тому, что в мире школьном традиционно не обсуждалось. Например, оппозиция официальной идеологии. Деньги. Смерть. И, конечно же, то самое... Но в данном случае самым тайным, запретным, попросту не имеющим права на существование было его к ней отношение. Этот подземный огонь был упрятан так глубоко, что ни при каких обстоятельствах не мог бы выйти на поверхность. Но жар набирал силу.

В этих разговорах он оказывался и наивным подростком, восторженно разговаривающим с любимой учительницей, и — одновременно — взрослым мужчиной, с осторожностью сапера ведущим почтительную беседу с прекрасной дамой, столь же недоступной, сколь и желанной.

Балансируя на грани дозволенного и ежеминутно меняя роль школяра на роль равноправного собеседника, он завоевывал ее внимание, открывал ей свои чувства, добивался взаимности и переживал то гармонию слияния, то охлаждение и разрыв. Эта тайная игра разворачивалась в четвертом измерении, в мире выдуманного, но для него все было реальностью, волновавшей куда сильнее, чем реальности трех повседневных измерений.

При этом в разговорах не было ничего, не предназначенного для других ушей. Ведь речь шла о книгах.

Татьяна Григорьевна была увлечена ничуть не менее своего собеседника. Но если для него эти разговоры о литературе были тем же, чем были они в нашем отечестве всегда: в них сублимировался набиравший жар внутренний огонь, то ей было просто очень интересно.

Этот мальчик, успевший уже преобразиться в юношу, приобщал ее к тому, чего она была лишена, рано выйдя замуж и сразу попав в школе в общество учительниц забальзаковского возраста. В университете она училась заочно. А представить себе Ивана Ивановича увлеченно рассуждающим о Стендале и Сент-Экзюпери или хотя бы о Евтушенко и Вознесенском было еще сложнее, чем целующимся.

И вообще Иван Иванович был для нее одновременно и отцом и мужем, но, вероятно, все же не в равной мере.

По причине раннего замужества она совершенно не умела кокетничать.

Не умела играть собеседником, то отдавая его от себя, то приближая, но всегда оставляя за собой право итоговой интерпретации сложившихся отношений. И ее естественность и искренность часто принимались за простодушие.

Будучи женщиной чрезвычайно привлекательной, Татьяна Григорьевна все же не была лишена некоторой провинциальности, что ее, впрочем, совершенно не портило. Но зато в ней решительно не было и следа вульгарности.

Было уже за полночь. Соседи по купе укладывались. Под его полкой расположилась химичка, а Татьяна, отправив вниз боявшуюся свалиться ночью восьмиклассницу, легко запрыгнула на полку напротив и, свернувшись калачиком, мгновенно уснула. Через час, убедившись, что все в купе спят, она осторожно стянула через голову свитер, расстегнула юбку и нырнула под одеяло. Он все смотрел на нее сквозь неплотно прикрытые веки и чувствовал на себе ее взгляд.

Лишь слабый отблеск лунного света освещал ее лицо. Просвет между полками был невидим, так что они плыли в этой тьме вдвоем, и он чувствовал себя мужчиной, оберегающим сон доверившейся ему женщины. Впереди у него была еще долгая ночь с множеством сновидений, где сын Гипноса Морфей и Эрот исправно делали свое дело, и он видел ее во сне и, просыпаясь, опять видел ее и удивлялся, что это не сон, и погружался в мечты, вновь переходившие в сновидения.

Проснувшись утром, на мгновение ослеп от белизны снега за окном. Протер глаза. Она смотрела на него, свернувшись под одеялом на полке напротив.

В Ленинград они приехали вечером и были расквартированы в огромном здании какой-то школы-интерната, куда съезжались и другие группы путешественников. Все принялись осваиваться на новом месте и ожидали ужина, а он стал уговаривать ее немедленно отправиться на Сенатскую, к Медному всаднику. Ведь мы в Ленинграде! И она согласилась, несмотря на неодобрительно поджатые губы зануд-училок.

И вот он шел по городу своей мечты, шел рядом со своей мечтой, мечтой несбыточной, но ведь сбылся же этот город... Свет изысканных фонарей выхватывал из темноты — не дворцы даже, а застывшие аккорды величественной музыки. И легчайшие хлопья снега ласково касались их лиц и тотчас таяли. А исходящий от нее аромат смешивался с запахом талого снега.

Стоит ли объяснять, что в памяти его после этой поездки не осталось ничего определенного? Главное: они там всюду были вместе. Вместе прошагали десятки километров по улицам и набережным, по залам музеев. И из множества впечатлений сохранилось лишь то, что переплелось с ее образом. Этот город был, как она, прекрасен и, как она, недоступен, но вот же — открывался ему, и теперь он совершенно точно знал, что это значит — счастье: она и Ленинград.

Он родился и вырос «в провинции у моря». Но, согласно автору цитируемых строк, будучи советским школьником, чей родной язык — русский, он был и жителем Петербурга — создания стихов и русской прозы. И радость узнавания здесь всего того, что ему было уже давно знакомо, сделала это путешествие возвращением на родину.

Счастье длилось ровно неделю и завершилось мучительной обратной дорогой. Вагон теперь у них был не купейный, а общий. Вначале было даже весело, и первую ночь они провели довольно бодро, скрашивая неудобства тесноты и отсутствия возможности поспать заливчатским, хотя к утру уже несколько нервным, весельем. Потом маялись день, а впереди была еще одна ночь.

Эту последнюю ночь он помнил очень плохо. К полночи словно опьянел от недосыпания. Остальные чувствовали себя не лучше и мучительно «клевали носом» с закрытыми глазами и страдальчески перекошенным ртом, невольно стараясь приземлить голову на плече у соседа. Она, отправив на верхние полки обеих училок, сидела у окна рядом с ним. Чтобы им не заснуть — он боялся, что его голова может ненароком оказаться на ее плече, хотя втайне и желал этого, — он отвлекал ее и себя бесконечным чтением стихов — шепотом, заплетающимся языком. Периодически они все же засыпали, теряя контроль над

плечами и головами, а проснувшись, пытались вновь разговаривать, подобно двум наклюкавшимся гостям, втолковывающим нечто друг другу в пьяном угаре затянувшейся вечеринки.

И что-то он не то сказал, а ему самому показалось — только подумал. Он так и не узнал никогда, что именно. Но взгляд ее становился все более внимательным и холодным, и этот взгляд заставил его сначала отстраниться от нее, а потом и отправиться в тамбур, где, приложив лоб к ледяному стеклу поминутно вздрагивающей двери вагона, он тщетно пытался протрезветь и понять, что же, собственно, произошло, что он такое ляпнул? Поезд уже подходил к станции пересадки, откуда до их города было уже рукой подать...

Вряд ли он тогда, в вагоне, позволил себе какую-то особую бестактность. Точнее, одну-единственную. Скорее всего, сонный и опьяненный ее близостью, он наговорил под этим наркозом много такого, что ясно свидетельствовало о наличии тайно пылавшего в нем огня. И с того дня, когда после зимних каникул они вновь появились в школе, все пошло по-другому.

Нет, конечно же, не все, ибо они по-прежнему часто встречались после уроков. Школьная команда остроумцев вышла в финал городского состязания, и он был капитаном этой команды, а она тренером. Здесь ничего не изменилось. Разве что он уже не бросался, как прежде, делиться с ней впечатлениями по любому поводу. Но теперь между ними пролегла невидимая черта, и о том, чтобы черту эту переступить, не могло быть и речи.

Но и приближаясь ненароком к этой черте, он уже встречал ее внимательный и выжидающий, теперь скорее предупреждающий взгляд.

Зато наличие этой черты свидетельствовало теперь и о другом. «Я знаю, — говорил ему этот взгляд. — И не надо больше об этом». То, что «не надо», конечно же, само собой разумелось, и его не это даже расстраивало — могло ли быть иначе? — а то, что он все-таки проговорился. Но это самое «я знаю» говорило и о большем. Ведь оно означало: «я тоже знаю», а до сих пор знал только он один. Теперь об этом знали они оба, и каждый знал, что и другой знает. И уже в этом заключалась взаимность.

В мае, несмотря на напряженный учебный план, оправились на помощь сельскому хозяйству: звонок из построенного еще до войны большого серого здания легко делал эти две вещи совместными. Сбор у школы рано утром и погрузка на автомашины, круживший головы свежий воздух и пышный букет крепких запахов деревни, раскованная обстановка и совместная трапеза на траве под открытым небом. Ну и — как неизбежная нагрузка ко всему перечисленному — утомительная работа под уже ощутимо припекавшим солнцем.

День был жарким, и, продвигаясь по полю, они постепенно снимали с себя все лишнее. «Эй, декхане, вода у кого-нибудь еще осталась?» Подъехала телега с бочкой воды, и возница позвал их напиться, с любопытством поглядывая на городских старшекласников.

Потом он увидел Татьяну и крикнул, восхищенно покачивая головой и забыв закрыть кран, из которого текла драгоценная влага. Учитель физкультуры проследил направление его взгляда и понимающе вздохнул.

А он не сводил с нее глаз в продолжение всего дня, впрочем, как и всегда. Он подмечал малейшие изменения в ее прическе или одежде, с чувствительностью сейсмографа фиксировал все перемены в ее настроении и с обостренным вниманием замечал все, что было хоть как-то связано с ней.

Физкультурник появился у них недавно и был самым молодым из учителей-мужчин в школе. В отличие от обремененных домашними заботами учительниц в мешковатых кофтах, одет он был всегда безупречно. Брюки, разумеется, без манжет, и плащ — роскошно шуршащая болонья. Проходя пружинящей походкой в спортзал, физкультурник неизменно вызывал скользящие взгляды учительниц и робкие — старшекласниц.

Понимающе вздохнул — это бы еще ладно. Но они, физкультурник и Татья-

на, еще и разговаривали друг с другом всю дорогу домой. Но вот она повернула голову и случайно встретилась с ним взглядом. И приветливо улыбнулась. Скорее — счастливо. Наверное, он ей сейчас смешон. О чем они там говорят?

Приехали, и физкультурник помог ей спрыгнуть из кузова грузовика.

В то лето завуч куда-то надолго уехал. Татьяна Григорьевна спала по ночам на террасе. Когда он ранним утром проходил мимо ведущей в их двор калитки, она выходила из-за дома, неся в обеих руках подушку и старый клетчатый плед.

В эту ночь он долго не мог уснуть. Под утро проснулся и выбрался во двор. Двигался стремительно, словно его ждали, и путь к тому забору нашел быстро, словно не прошло пяти лет, долгих, как целая жизнь. Чего он хотел? Подкрасться к ее постели и увидеть ее спящей?

Не успел, осторожно ступая, дойти до террасы, как его бросило в озноб. Оттуда доносились резкий скрип и едва слышный стон.

Подошел поближе. Татьяна Григорьевна сидела на постели, обхватив ногами мужчину, лежащего головой к нему, так что лица было не видно. Голова ее была запрокинута, рот полуоткрыт. Она тяжело вздыхала и двигалась, словно гребец в борющейся с течением лодке, сильными и страстными рывками. Они замедлялись в конце, но повторялись вновь, все труднее и мучительнее. Руки прижались к груди, тщетно пытаясь вдавить ее внутрь грудной клетки. Между судорожно растопыренными пальцами виднелись розовые соски.

Иногда по ее лицу пробегала тень страдания, тут же сменявшаяся то счастливой растерянностью, то умилением, с которым, боясь причинить ему боль, стискивают взъерошенного и перепуганного котенка.

Мужчина лежал неподвижно, вцепившись руками в края постели. Он невольно сделал шаг вперед, чтобы увидеть его лицо, хотя уже понял, кто это. Физкультурник. Он совсем забыл, что находится прямо перед ней.

Она глядела ему в глаза, как смотрят, онемев, в глаза человеку, за спиной которого на него несется невидимый им поезд.

«Уйди», — беззвучно взмолились ее губы, и он повернулся, в несколько прыжков добежал до забора и, ободрав руки и плечо, поспешно, словно за ним гнались, вернулся домой. Дома упал вниз лицом на диван и мгновенно погрузился в сон без сновидений. Утром мать не разбудила его, и он проспал почти до захода солнца. Потом несколько дней не выходил из дома. Случайно узнал, что Татьяны Григорьевны в городе нет. Вернулась она только через неделю.

Он сидел у раскрытого окна, когда перед ним возникла соседская девочка с огромным розовым бантом. Приподнявшись на цыпочки, она положила на подоконник толстый журнал и степенно удалилась. Журнал был обернут, в обложку вложен лист бумаги. На нем рукой Татьяны Григорьевны было написано: «Приходи, пожалуйста, вечером, нам надо поговорить. Бумагу эту порви».

Время так тянулось, что до вечера он, кажется, повзрослел еще на год. Идти туда было невозможно. Но невозможно было и не идти. Поздно вечером он выскользнул на улицу и шел, вдыхая глубоко и прерывисто, как на приеме у врача. Она сидела на террасе. Не глядя на него, тихо заговорила. Он слушал, опустив голову.

Она просто не знает, что теперь делать. Она ездила к своей матери, это довольно далеко. Она решила переехать к матери. Совсем. Хотя она не знает, чем все это кончится. Она боится. Уйти от него будет очень трудно. Он словно завладел ее душой и телом, совершенно подчинив ее себе. Это началось давно, после войны, когда он во время голода подкармливал их с матерью. Потом был очень внимателен к ней в школе. А потом...

Он знает. Откуда? Знает, и все. Он первый раз пришел сюда ночью? Нет. Последний раз пять лет назад... Мучился, ругал себя, но все же приходил.

Странно, она однажды подумала, что так могло быть: когда-то ночью ей показалось... Но не была уверена. Что она о нем думает? Она его презирает? Бед-

ный глупый ребенок. Почему бедный? Потому что... Ей жалко его. Как тогда, после того педсовета. Почему он снова пришел сюда ночью? Он знал? Нет, не знал, он сам не знает почему. Хотел увидеть ее спящей. Знает ли она, что он ее любит? Конечно.

Любит она этого? Нет. И он больше не придет. Тогда почему? Трудно объяснить. Она уступила, он ее просил... Он сказал, что влюбился в нее. Ведь для нее это самое — совсем не важно, она привыкла, что это нужно... ну, не ей. До этого она ничего не знала о себе и не понимала, как это может быть. Да, замужем. Но того она воспринимала по-другому. И она хотела узнать. Да ведь и с ним не успела... Теперь уже все.

Она так откровенна с ним сейчас, потому что так все случилось, но получается, что он знает о ней больше, чем любой другой. Она понимает, как он сейчас страдает. Она знает, что он любит ее. Она уедет, и они уже никогда не увидятся? Да. Да.

Как тогда это все произошло, он не помнил. Какой-то дурман накрыл и затопил их обоих, и уже в ее объятиях, с горящей от немислимых этих прикосновений кожей, он понял, что, собственно, с ним происходит, но все происходящее не вмещалось в пределы его сознания. А потом он все забыл.

Но оказалось, что само тело его сохранило память об этом. Беспомощно распростертое сейчас на больничной кровати в ожидании ему предстоящего, оно напомнило ему, как именно это было.

...он не решался, смертельно боясь этого мгновения, хотя уже пробудившийся и слепо тычущийся повсюду, казалось, вышел из повиновения и сам рвался в неизведанное. Руки и губы его еще лихорадочно ласкали ее, но тут она тихо охнула, и он с ужасом и восторгом почувствовал, что она вся раскрылась ему навстречу, и он в ней, и карабкается во тьме по устланному мягким и скользким мхом крутому склону, извиваясь всем телом и отчаянно пытаясь не сорваться до вершины, за которой открывается ослепительный свет, и вот уже уносится, подбрасываемый на частых порогах залитой солнцем бурлящей реки, упрямо преодолевая подъемы и с замиранием сердца проваливаясь на спусках, а она бережными, но уверенными движениями рук помогает ему, удерживая этот челн в ежесекундно меняющемся русле, а потом, слившись в единое целое, они наконец достигли края этой пропасти и легкой щепкой, веточкой, трепыхающимся листком понесли в бешено кружащем их потоке к невидимому ее дну, а там...

Дразнимый в эту волшебную ночь целым сонмом бесов, он потом захотел испытать все, что некогда видел, хотя и стыдился: ведь она все это, конечно, понимала. Но она покорно и терпеливо исполнила все его просьбы. Коленопреклоненный, он смотрел вверх склоненной книзу копны русых волос на усыпанное бриллиантами звезд и изредка озаряемое тонкими росчерками небо и недоверчиво покачивал головой, боясь, что этот фантастический сон вот-вот кончится.

Так оно и случилось. Лежа за ее спиной, он слегка прижимал широко раскрытой ладонью руки ее грудь, не давая ей сотрясаться, когда с той самой стороны, откуда он когда-то впервые появился в этом дворе ночью, послышался шум. Кто-то, пытавшийся подкрасться поближе к веранде, запутался в колючем кустарнике с той стороны забора.

Они приподнялись на кровати, чуть раздвинули виноградную завесу и всмотрелись. Там был не ребенок, а взрослый человек. У него неожиданно мелькнуло: физкультурник, но она, взглядевшись в четко очерченный на фоне пред-рассветного неба силуэт, вдруг в ужасе выдохнула: «Иван Иванович...»

Дрожащими руками она помогала ему одеться, и их лихорадочные действия напоминали комически ускоренные кинокадры, притом что их участники были охвачены смертельным страхом. Это было так похоже на Ивана Иванoviча: досрочно вернувшись из поездки, он, подойдя к двери дома, услышал, что происходит на веранде, но не ворвался туда, а решил подобраться с другой стороны, чтобы все узнать. Но днем ему тут бывать не приходилось, а в темноте най-

ти путь во двор он не смог и сейчас вслушивался в доносившиеся с веранды лихорадочный шепот и шорохи. Потом повернулся и двинулся обратно. Идти ему минут пять. Значит, бежать надо не на улицу, а сюда же.

Едва одевшись и не успев даже попрощаться с ней, он скользнул в знакомый лаз, вылез на пустырь и выпрямился. Прямо перед ним стоял Иван Иванович.

Ноги приросли к земле, и силы окончательно покинули его. Завуч посмотрел оценивающе и тихо спросил:

— Насмотрелся? И что, кончилось кино? А тот куда делся — на улицу? Ну, ладно. Иди домой спать. Погуляй эти дни, в школе поговорим. Расскажешь, что ты там видел. Но ни с кем не болтай. Понял?

Привычным движением провел рукой по его груди, там, где был нагрудный карман, и уверенно запустил руки в карманы его холщовых «китайских» брюк. Обыскиваемый не сопротивлялся, стараясь лишь удержаться на ногах. Завуч повернул его и толкнул в спину, но снова задержал и ошупал задний карман брюк. Вытащил и развернул тот самый, вчетверо сложенный листок бумаги, который он вчера не разорвал, а машинально сложил и спрятал. Иван Иванович достал очки, развернул листок, медленно, словно он был исписан полностью, прочел и аккуратно сложил.

— И где ты это взял, тоже вспомни. Иди, иди...

Он покорно побрел домой. Прежняя жизнь разом кончилась.

Потом Иван Иванович, не спеша, расстегнул ремень и вытащил его за пряжку левой рукой, затем протащил сквозь сжатые пальцы правой, выравнивая и одновременно пробуя на прочность. Это был ремень темной кожи, с многочисленными морщинами, узкий и тонкий, но стегающий невероятно больно.

В практике Ивана Ивановича сия мера наказания считалась высшей и применялась относительно редко. Градации были хорошо известны.

Неутомимые говоруны, не внявшие уже однажды внимательному взгляду Ивана Ивановича, могли до конца урока простоять на коленях по обе стороны учительского стола лицом к классу, стараясь не встречаться взглядом со смущенными одноклассниками.

Однажды за дверью при этом раздались громовые раскаты директорского голоса, и оба коленопреклоненных нарушителя с ужасом переглянулись. Тонко поняв ситуацию, завуч мановением руки цезаря, дарующего жизнь гладиатору, возвратил проказников на место. Директора боялись и не любили, Ивана Ивановича — боялись и уважали.

Бывало, посмотрит Иван Иванович со значением на расшалившегося не в меру, вытащит из кошелька десять копеек — только что ввели «новые» деньги, и все носили подорожавшие вдесятеро монеты в кошельках, а не в карманах, — и аккуратно выложит их на край стола. Первое предупреждение. Оно же и последнее, ибо на следующий раз монетка молча протягивалась шалуну, хорошо знавшему, что ему предстоит. Собрать учебники, одеться и брести в центр города, к парикмахерской. Войти сквозь клубы пара в гостеприимно открытую дверь, усесться на свободный стул и терпеливо ждать своей очереди, уныло разглядывая истрепанные обложки журналов, где корчащиеся от злобы и зависти империалисты беспомощно взирали на победную улыбку проносащегося по небу искусственного спутника Земли с лихими вихрами антенн и веселыми глазами иллюминаторов. Очередь неумолимо подходила, и толстый добродушный парикмахер встречал клиента, как пациента, сочувственно понимающим: «От Ивана Ивановича?.. Наголо, значит...» — «Налысо...» — с печальным вздохом соглашался клиент. Впереди еще было объяснение с родителями, а потом — долгие недели отращивания волос под назидательными взглядами других педагогов и на фоне полной потери успеха у прекрасной половины класса, с головой — как искусственный спутник, но без антенн и победной улыбки.

Так наказывались проступки мелкие, текущие. Насыпать карбид во все чернильницы — проступок уже масштаба общешкольного. Если узнает директор, участникам предстоит грандиозная головомойка в его кабинете и ее продолжение дома, условное исключение из школы и множество иных поражений в правах. Если дело попало к Ивану Ивановичу, директор о нем не узнает. Но доведется отведать того самого ремня. Многие предпочитали именно такое развитие событий, справедливо полагая, что ремень отцовский, особенно после вызова в школу, — зло вряд ли меньшее. Так что завуч и тут оказывался отчасти избавителем.

Но все это — в далеком прошлом. Легенды, школьный фольклор. Последний раз лет пять назад. К завучу они попали тогда вчетвером, и всех рассмешил самый вдумчивый из четверки: услышав, сколько «горячих» ему предстоит, он деловито спросил: «А с перерывами — можно?» Все это отдавало некоей игрой, хотя было по-настоящему больно, и оставалось лишь стойчески перенести экзекуцию.

А сейчас... Когда к ним даже многие учителя обращаются на «вы»... Этого не может быть. Он компромиссно присел на краешек кушетки, отчасти обозначая выполнение безумного приказа, и пожал плечами.

— Я ничего не знаю.

— Я тебе сейчас одну историю расскажу. — Иван Иванович сел на стул напротив, держа ремень в обеих руках. — Это давно было... Был у нас в школе один мальчишка. Мерзость, хулиган и пакостник. Он думал, ему море по колено. Вот сюда я его привел. И всыпал. Сначала он терпел, потом орал. Потом обкакался, гадкий мальчишка... Потом плакал, вот тут, на коленях. И потом уже шелковый был — тише воды, ниже травы. И ты у меня сейчас обкакаешься... Не веришь?

Завуч посмотрел на висевшее справа от стола расписание.

— Татьяна Григорьевна у вас как раз историка заменяет. Сейчас пойдем в класс. Расскажешь, как ты лето провел. Так ты здесь обкакаться хочешь или там, без ремня?

Кто там был? Где ты нашел эту бумагу? Кто ее потерял? Ты же туда пришел, потому что знал, правда? Здоровый балбес, а пошел смотреть... Но я тебя не спрашиваю, что там было, а будешь болтать, вырву язык. Ты понял, гадкий мальчишка? Я спрашиваю, кто там был?

Татьяна Григорьевна на работу не приходила. Говорили, что тяжело заболела. Затем произошли события, повергшие городскую общественность в возбуждение и смущение одновременно. Жена учителя физкультуры, неизвестно как узнавшая о романе мужа, не ограничилась скандалом домашним, а пришла в школу и продолжила его в присутствии учителей и школьников.

Резонанс был неслыханный. Годы воспитательной работы — насмарку. В кабинетах отцов города началось разбирательство. Общественность бурлила. Имели хождение самые невероятные слухи. Например, что физкультурник честно признался во всем жене, а на разбирательстве покаялся, подробно рассказав о том, что у него было с Татьяной Григорьевной, и находя смягчающим то обстоятельство, что прегрешение его так и не было доведено до логического своего завершения. Разбирательство было предельно закрытым, но все узнавали все.

Общественность разделилась на два лагеря. Возможно даже, на три. Одни горячо осуждали грешницу-пионервожатую, жалели Ивана Ивановича, хвалили искренне раскаявшегося физкультурника и сочувствовали его супруге. Другие, осуждая пионервожатую, физкультурника не хвалили и супруге его не сочувствовали. Третьи... впрочем, никто из них публично не высказывался.

Вместе с вернувшимся в семью отцом они переехали в новостройку на окраине города. С Татьяной Григорьевной с тех пор он не встретился ни разу.

В школе она больше не появлялась. Уехала к матери, лечилась. Она умерла через полгода, как раз когда он сдавал вступительные экзамены. Ему об этом

сказала мать по телефону. А в первый день следующего учебного года прямо у себя в кабинете умер и Иван Иванович.

Он по-прежнему еще приходил в школу, когда приезжал на каникулы студентом, но никогда больше не проходил по той улице. А потом они с матерью и вовсе уехали из этого города.

Что-то еще не давало ему покоя. Да, это лицо в окне, старуха. К Татьяне Григорьевне изредка, когда Иван Иванович бывал в отъезде, приезжала мать. Где же это окно — неужели ему показалось? Не показалось.

— Вы седой уже, а я вас помню, как вы к Тане приходили, репетировали. Тане потом не до того было, у нее были большие неприятности. Вы ведь не знаете, отчего она умерла. Да, печень, но это же муж ее избил тогда страшно, все ей повредил. Но тут это ушло, как в песок, в этом городе. Никто не разбирался. Да и он сам тогда тоже умер.

Да, он и у нас был учитель, еще перед войной. Всего этого я вам не могу рассказать, и уже никому не расскажу. Такое нельзя рассказывать. Наверное, это я виновата, и всю жизнь молюсь, да не помогло. И не меня наказали, а Таню. Меня тоже.

А вы как? Семья? Так и не женились? Сколько уже лет прошло... А почему вы об этом спрашиваете?

После Тани? Да, осталось, я сюда это все с собой взяла, когда переезжала. После его смерти уже. Так оно и лежит, там школьные ее дела всякие. Вот они, перевязаны, с тех пор еще лежат, я не трогала. Хотите посмотреть?

Так спустя сорок пять лет у него в руках снова оказалась та самая, найденная некогда в щели между бревнами тетрадка с колорадским жуком на обложке. Только пожелтело все, расплылось, почти ничего не прочесть.

Уезжал утром. Шел к автобусу по мосту через реку. Та самая переправа вдали и обморочное ощущение, что видишь все это в последний раз.

Сразу после взлета он погрузился в сон и спал как убитый, хотя самолет давно уже набрал высоту, скрестив руки на груди и не сняв очки, с пачкой купленных в аэропорту газет на коленях. Позади был город его детства, впереди — больница и все, что предстояло, а загадывать дальше не имело смысла. Спал долго, и сон его был странен.

В приемной канцелярии его определили в одноместную палату, но уже в отделении ангельской наружности медсестра, увидев, что больничная страховка у него не в частной кассе, а в производственной, где взносы поменьше, отправила его в палату, где томились четверо других больных. Один из них был совсем плох. И ему стало стыдно за свою, впрочем, робкую попытку спросить насчет одноместной палаты, парированную с неангельской твердостью, многие были бы еще счастливы попасть сюда, в это отделение столь славного медицинского заведения... Испуганная жалость к самому себе сменилась спасительной иронией, и он уже называл своих соседей счастливыми.

Вот молодая и оскорбительно хорошенькая врачиха. Почти дословно — из повести его юности, из «Юности», о попавшем в такую же больницу человеке с аккордеоном, он не раз мысленно примерял на себя эту судьбу — за исключением финала.

«О, Господи, как совершенны дела Твои...» А вот этого не надо. Запрещено. Не раскисать. Прекрати немедленно.

«Благодарю Тебя за все, что со мною случится, ибо твердо верю, что любящим Тебя все содействует ко благу».

Вот ты, значит, как заговорил... А раньше-то?

Пока что его повезли вставлять в вену трубку, которая должна была протянуться от запястья руки почти до самого сердца. Юный хирург и две смешливые медсестры делали свое дело осторожно, но как-то лихо и с множеством

прибауток. Благодаря этой веселой троице он окончательно успокоился: будь что будет, не ты первый, не ты последний. Уйми в себе этот пафос, а то, подумаешь, репортаж с петлей на шее. А родился бы ты году в двадцатом, был бы у тебя шанс выжить?..

Ночью, когда все началось, энтузиазма поубавилось. Восприятие раздвоилось: зрение и слух еще делали свою работу, но мысли то блуждали по каким-то страницам, то заглядывали в потаенные уголки памяти, где накопилось столько сора, из которого ничего путного так и не выросло.

Он все ждал. Из последних сил. Все-таки она пришла. Неужели он думал, она не придет? И он сразу сказал то, что собирался сказать всю жизнь. Ведь у него тогда просто не было другого выхода. И эта записка. Что он мог ответить? Сказать, что там был он? Он выбрал меньшее из двух зол. А третьего тогда не нашел. Не смог, не решился, мал был еще. Вот потому, наверное, он сюда и попал, так что он не ропщет. В крайнем случае, они там встретятся.

Ни в коем случае, отвечала она. Ему там нечего делать. И не надейся. Будешь жить. Конечно, она все тогда поняла. Он действительно выбрал меньшее из двух зол. А третье — значит, третьего не было дано.

Она ушла, и в стекла окон забарабанили крупные капли. Пошел сильный косой дождь, теплый и ставший потом ласковым.

И он пошлепал вдоль пузырящегося ручья в обочине спускавшейся далеко вниз размытой улицы, спотыкаясь и перепрыгивая через мутные притоки, догоняя стремительно преодолевавший многочисленные пороги обломок кленовой ветви с сучком на утолщенной корме и парусом трепыхавшимся листком, все скорее и скорее, к невидимой отсюда реке, слыша отчаянный визг соседской детворы за спиной и слабые грозовые раскаты вдали, жадно вдыхая напояющий влагой воздух. И счастье было неизбежно, а жизни, да что там жизни — дню, мгновению этому, теплому дождю и бурлящему потоку вдоль прекрасной извилистой улочки — не было конца.

2001, 2003